Хроники старого переплета

Переплет из шагреневой кожи

Детективный роман



Елена Копс

Елена Копс

Переплет из шагреневой кожи (Хроники старого переплета)

«Автор»
2026

Копс Е.

Переплет из шагреневой кожи (Хроники старого переплета) / Е. Копс — «Автор», 2026

В дождливом октябре размеренная жизнь реставратора Маши Верещагиной, привыкшей к тишине стародачного посёлка и уютным чаепитиям с бабушкой Аглаей, переворачивается в одночасье. Знаменитый библиофил Платон Воронов поручает ей срочно восстановить уникальную семейную хронику XIX века в переплёте из шагреневой кожи. Но едва Маша приступает к работе, коллекционера находят мёртвым в запертом изнутри кабинете. Причина смерти — редкий контактный токсин, нанесённый прямо на книжный обрез. Распутать загадку и найти убийцу Маше помогает Илья Корсаков — замкнутый и недоверчивый глава службы безопасности аукционного дома. Уютный и напряженный детектив с ароматом прелой листвы, антоновских яблок, старой кожи и бабушкиного пирога с корицей, где за колкой пикировкой героев рождается настоящее чувство. Первая книга цикла «Хроники старого переплета». Продолжение следует...

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 20
Глава 3 33
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Елена Копс
Переплет из шагреневой кожи (Хроники старого переплета)

Глава 1

Утро в Снегирях Дождь начался во вторник вечером, и к утру среды стало понятно, что заканчиваться он не собирается. Шел он ровно и основательно, как идут дожди только в середине октября, когда торопиться уже некуда. По цинковой крыше веранды он барабанил на одной ноте, а в водосточной трубе у крыльца что-то булькало и всхлипывало. Труба эта третий год собиралась отвалиться и все никак не решалась.

Маша Верещагина сидела в мастерской, бывшей летней кухне, которую она два года назад, сразу после развода, утеплила, обшила вагонкой и забила стеллажами до самого потолка. Перед ней на столе, на листе беленого картона, лежал требник. Он был старый, конца восемнадцатого века, из маленькой церкви под Рузой. Батюшка привез его в обувной коробке, обернутым в полотенце с петухами, и все повторял, что «книжечка-то совсем плохая, вы уж как-нибудь». Книжечка и правда была плохая. Корешок сыпался, кожа на нем облезла, как кора со старой липы, а последние тетради держались на одном честном слове и паре ниток, которые кто-то когда-то, лет сто назад, пришил черной суровой ниткой прямо через блок. За такое Маша, будь ее воля, отправляла бы на каторгу.

– Ну и кто тебя так, – пробормотала она, поддевая скальпелем край отставшей кожи. – Кто тебя так обидел, а?

Требник, разумеется, не ответил. Зато в доме что-то упало, коротко и звонко, и следом раздался бабушкин голос, хорошо поставленный, рассчитанный на последний ряд галерки: – Фунтик! Ты! Рыжая! Скотина! Маша вздохнула, сдвинула очки, сползшие, как обычно, на самый кончик носа, и прислушалась.

Из-за двери доносилось шуршание, потом обиженное «мр-р», потом снова бабушка, уже потише, но с той трагической интонацией, от которой когда-то, говорят, рыдал весь зал на «Без вины виноватых».

– Скатерть. Свежая. Только с веревки. Я ее крахмалила! Своими руками! А он лег. Нет, ты посмотри, Маша, он даже не встает! Маша отложила скальпель, вытерла руки о фартук и пошла смотреть, потому что не посмотреть было нельзя. В этом доме если бабушка звала смотреть, то лучше было идти сразу, иначе через пять минут она начинала говорить, что всеми покинута и умрет в одиночестве, как Катерина, только без обрыва, потому что обрывов в Снегирях нет, а есть одна канава у станции. На веранде было тепло и пахло яблоками так густо, что казалось, этот запах можно резать ножом и мазать на хлеб. Антоновка лежала везде: в эмалированном тазу у двери, в корзинах под лавкой, на подоконниках, разложенная бочками вверх, на старых газетах.

Бабушка утверждала, что антоновку надо выдерживать, как хорошего актера, пока не созреет, и что яблоки, сорванные в сентябре, к ноябрю становятся «совсем другим человеком». Маша не спорила. Спорить с бабушкой о яблоках, театре и мужчинах было бессмысленно, а других тем для споров у них почти не было. На большом круглом столе, накрытом белой льняной скатертью с вышивкой по краю, лежал Фунтик. Лежал он поперек, во всю длину, а длины в нем было почти метр, если считать с хвостом. Девять килограммов рыжего меха, усы, как у

Буденного, и выражение морды, какое бывает у очень пожилого и очень уставшего профессора, когда ему в сотый раз задают один и тот же глупый вопрос. Рядом валялась сахарница, крышка от нее закатилась под самовар. Сахар, к счастью, не рассыпался, потому что был кусковой, и бабушка как раз собирала куски обратно, по одному, двумя пальцами.

– Он мне скатерть испортил, – сообщила она Маше, не поднимая глаз. – Шерсть. Везде шерсть. Как будто у нас не кот, а овечья ферма.

– Ба, он всегда тут лежит. – Он всегда лежит на клеенке. А сегодня клеенка в стирке, я постелила льняную, потому что, – тут бабушка выпрямилась, поправила на шее нитку жемчуга и посмотрела на Машу так, что та сразу почувствовала себя виноватой неизвестно в чем, – потому что люди иногда приезжают в гости. Порядочные люди. И им надо подать чай на порядочной скатерти.

– Какие люди? – Не знаю. Мало ли. – Бабушка пожала плечами с таким невинным видом, что Маша немедленно насторожилась.

– Вдруг кто-нибудь приедет. У нас все-таки не тайга. Фунтик зевнул, показав розовую пасть и четыре желтоватых клыка, перевернулся на спину и вытянул лапы вверх, демонстрируя рыжее пузо. Этим он, по всей видимости, хотел сказать, что разговор о скатерти считает исчерпанным. Маша посмотрела на кота, потом на бабушку, потом на свежую скатерть, на которой уже темнели два рыжих клока шерсти, и подумала, что с самого утра все складывается немного странно. Бабушка с восьми часов была на ногах. Это само по себе ничего не значило, бабушка всегда вставала рано, говорила, что в театре привыкла к утренним репетициям, хотя Маша точно знала, что репетиции у них начинались в одиннадцать.

Но сегодня она не просто встала рано. Она надела жемчуг. И серую шерстяную юбку, ту, которую берегла «для выхода». И, кажется, подвела глаза. В половине девятого утра, в среду, в дождь, когда из всего «выхода» был только выход за калитку к почтовому ящику.

– Ба, – сказала Маша осторожно, – ты кого-то ждешь?

– Я? – Аглая Петровна приложила руку к груди, к самому жемчугу, и сделала большие глаза. – Машенька, кого может ждать старая женщина в семьдесят восемь лет? Разве что смерть. Но она, говорят, не звонит заранее.

– Тебе кто-то звонил.

– Звонили, – легко согласилась бабушка. – Из собеса. Насчет льгот на электричество. Иди, иди, работай, у тебя там книжка твоя осыпается. А я пирог поставлю. Тесто уже подошло. И она удалилась в кухню величественно, как королева со сцены после монолога. Даже дверь за собой притворила неплотно, оставила щель, чтобы слышать, что происходит на веранде.

Маша постояла еще немного, глядя ей вслед, потом взяла Фунтика под передние лапы (он не сопротивлялся, только тяжело вздохнул и обвис, как мешок с картошкой) и переложила на плетеное кресло у окна. Кот тут же свернулся там клубком и закрыл глаза с видом мученика, которого незаслуженно оторвали от любимого дела. Скатерть Маша отряхнула ладонью, кое-как, и вернулась в мастерскую. Требник ждал. Маша села, посмотрела на него и поняла, что работать уже не может, во всяком случае пока.

Когда что-то было не так, у нее всегда начинали чесаться руки, а голова уходила в сторону и принималась думать совсем о другом. О льготах на электричество, например, которыми бабушка за всю жизнь ни разу не поинтересовалась. Все платежки в доме оплачивала Маша, а бабушка говорила, что цифры портят ей цвет лица. «Ладно, – сказала себе Маша. – Захочет, сама расскажет. А не захочет, все равно расскажет, только позже, когда будет поздно что-то менять». Она натянула нитяные перчатки, взяла пинцет и стала аккуратно, по миллиметру, снимать с корешка остатки старого клея. Клей был костный, давно превратился в коричневую корку, ломался и пах так, что Маша время от времени отворачивалась и дышала в сторону.

Работа шла медленно. Работа такого рода вообще не терпит спешки, и за это Маша ее, в общем-то, и любила.

Когда-то, лет десять назад, в другой жизни, Глеб говорил ей, что реставрация это ремесло, что-то вроде починки обуви, только для интеллигентов. Говорил он это не со зла. Глеб вообще редко говорил что-нибудь со зла, он просто не замечал, как его слова падают на людей и оставляют вмятины.

Литературный критик, автор двух сборников статей и бесконечного количества колонок о том, кто в современной прозе честен, а кто продался, он был уверен, что настоящая жизнь происходит только в словах, а все остальное, бумага, нитки, клей, это так, обслуживающий персонал.

Маша тогда не обижалась. Тогда она еще думала, что он прав, что ее любимое дело на самом деле что-то вроде хобби, милого и немного смешного, и что настоящая жизнь, конечно, у него. В его колонках, в его бесконечных спорах на кухне с такими же умными, как он, бородатыми мужчинами, в его обидах на тех, кто его не печатал, и в его романах с аспирантками. Про романы она узнала последней. Как оно обычно и бывает. Маша поймала себя на том, что уже минуту держит пинцет над одним и тем же местом и не двигается. Она тихонько выругалась, положила пинцет на подставку и сняла очки. Протерла их краем фартука, хотя протирать было нечего. Это была старая привычка, еще со времен университета, когда она запиналась на экзамене и тянула время. Два года. Пора бы уже.

Бабушка говорила, что на развод отводится ровно столько, сколько длился брак, деленный пополам, и по этой арифметике Маша должна была перестать о нем думать месяца три назад. Бабушка, правда, сама разводилась дважды и оба раза, по ее собственным словам, «забыла мерзавца ровно через неделю, на премьере». Но бабушка была актриса, а у актрис, как известно, другой обмен веществ. Маша надела очки и снова взялась за пинцет.

За окном мастерской был сад, мокрый и облетевший наполовину. Старые яблони стояли черные, корявые, и на нижних ветках еще висели последние антоновки, которые никто не мог достать, а сами они почему-то не падали. Дальше виднелся забор, серый, из штакетника, который давно пора было покрасить, за забором участок Зои Серафимовны с ее теплицей, обтянутой мутной пленкой, а еще дальше, за соснами, на пригорке над рекой торчала островерхая крыша с флюгером в виде ворона. Это был дом Воронова. В Снегирях его называли просто «замок», без всякой иронии, потому что ирония в отношении этого дома как-то не приживалась. Построили его в девяносто шестом году, когда в поселке еще стояли старые деревянные дачи академиков и народных артистов, а новые русские только начинали скупать участки и ставить на них кирпичные дворцы с башенками. Воронов был из первых. Купил сразу три участка над рекой, снес старый дом какого-то членкора, говорят, вместе с яблоневым садом, и выстроил на этом месте что-то среднее между шотландским замком и городской библиотекой. Красный кирпич, узкие окна, башня, островерхая крыша, кованые ворота с гербом, которого никогда не существовало. Бабушка, увидев это сооружение впервые, сказала: «Боже мой, Карамзин бы заплакал». С тех пор она называла Воронова исключительно «наш маркиз де Карабас». Сам Воронов в поселке появлялся редко, по крайней мере на людях. Говорили, что у него лучшая в Подмосковье частная библиотека, что он собирает рукописи, автографы, первые издания и вообще все, что когда-то держал в руках кто-нибудь великий. Говорили, что он скупой, что жесткий, что первую жену выгнал с ребенком на улицу, а вторую взял из модельного агентства. Говорили много чего.

Маша в разговоры не вникала, хотя с Вороновым, если подумать, у нее была общая профессиональная территория. Но коллекционеры такого уровня с реставраторами вроде нее обычно не связываются. Они работают с крупными мастерскими, с музейными лабораториями, с людьми, чьи фамилии печатают в каталогах аукционов мелким шрифтом в самом конце. Маша Верещагина в каталогах не печаталась. Она чинила требники для деревенских церквей,

семейные Библии, дедушкины альбомы и иногда, по большой удаче, что-нибудь интересное для частных коллекций средней руки. Этого хватало на жизнь, на крышу, которая все равно текла, и на корм для Фунтика, который ел, как маленький тигр. Дождь усилился. На крыше мастерской, в углу над дверью, что-то тонко зазвенело. Маша подняла голову и увидела, как с потолка набухает и срывается вниз капля, прямо в подставленный еще с прошлой недели оцинкованный таз. Звук был неприятный, высокий, и через полминуты повторился.

– Зараза, – сказала Маша вслух, совершенно без злобы, просто констатируя факт. Крышу надо было перекрывать. Это она знала с весны. Весной, правда, у нее были деньги, но весной же сломался котел, и деньги ушли на котел, потому что без крыши можно было еще как-то прожить, а без отопления в октябре на даче делать было нечего. Потом Марик попросил в долг, «буквально на месяц, Машка, клянусь», и это был, кажется, уже пятый месяц, и Маша про долг не напоминала, потому что напоминать младшему брату о деньгах было все равно что напоминать Фунтику про диету. Без толку и обидно для обеих сторон. Она сняла перчатки, переставила таз немного левее, туда, где капли падали точнее, и вернулась к столу. Требник, лежавший на картоне, никуда не делся и, разумеется, никого не винил. В дверь мастерской постучали. Не постучали даже, а поскребли. Маша знала этот стук.

– Открыто, Зоя Серафимовна! Дверь приоткрылась, и в щели показалась голова в прозрачном дождевике с капюшоном.

Под дождевиком был шерстяной платок, под платком кудряшки, выкрашенные в тот особенный баклажановый цвет, который бывает только у женщин определенного возраста и определенной решительности. Зоя Серафимовна была соседкой Верещагиных через забор лет, наверное, пятьдесят, сколько Маша себя помнила. Она знала про всех все, причем раньше, чем об этом узнавали сами участники событий. Если в Снегирях кто-то разводился, женился, рожал, продавал участок или заводил собаку, Зоя Серафимовна узнавала об этом первой и немедленно сообщала остальным, по очереди, в строго определенном порядке, который никто, кроме нее, не понимал. Верещагины в этом порядке стояли почему-то в самом начале, и Маша подозревала, что это из-за бабушкиных пирогов.

– Машенька, я на минуточку, – сказала Зоя Серафимовна и вошла целиком, оставляя на полу мокрые следы от резиновых сапог. В руках у нее была трехлитровая банка, накрытая капроновой крышкой. – Я вот рыжиков принесла. Первую партию открыла, пробовала, удались. Отнеси Аглае Петровне, а то я к ней не пойду, она сегодня какая-то... не такая.

– Вы тоже заметили?

– Да как не заметить! – Зоя Серафимовна поставила банку на край стеллажа, прямо рядом с коробкой японской реставрационной бумаги, и Маша незаметно отодвинула коробку подальше. – Она мне утром через забор кричит: «Зоя, у тебя есть свежие сливки?» Я говорю: «Аглая Петровна, какие сливки, вторник был молочник, а сегодня среда». А она так ручкой махнула и пошла. В жемчугах. В восемь утра! Я думаю, может, у нее кавалер. Она в девяносто восьмом году, помнишь, ты маленькая была, с одним полковником в отставке ходила, тоже в жемчугах...

– Не помню, – честно сказала Маша.

– Ну и правильно, нечего там было помнить, – махнула рукой Зоя Серафимовна. – Полковник оказался женатым. А я тебе вот что еще скажу. – Она понизила голос, хотя в мастерской, кроме них двоих и требника, никого не было, и придвинулась ближе. От нее пахло укропом, чесноком и немного валокордином. – У маркиза-то вчера опять скандал был. Маша не сразу поняла, о ком речь, потом сообразила.

– У Воронова?

– У него. Я вечером Тузика выгуливала, мимо ворот прохожу, а там крик. Мужской голос, молодой. Сын, наверное. Он к нему последнее время зачастил, этот сын. На красной машине такой, маленькой, она у ворот всегда стоит, как будто его внутрь не пускают. И вот кричит: «Ты

мне никогда ничего! Никогда!» А что «ничего», я не разобрала, дождь был. И потом ворота хлопнули, машина эта красная как рванет, чуть Тузика не задавила. Я сразу домой пошла, давление померила. Сто шестьдесят на сто.

– Зоя Серафимовна, вам нельзя волноваться.

– А я и не волнуюсь, – удивилась Зоя Серафимовна. – Я рассказываю. Ты-то волноваться можешь, ты молодая. А мне чего, я свое отволновалась. Ладно, побегу. Тузик дома один, он у меня, когда один, носки ест. Рыжики отдай, не забудь. Скажи, с хреновым листом, как она любит. Она ушла так же стремительно, как появилась, хлопнув дверью и оставив после себя мокрые следы и запах укропа. Маша посмотрела на банку. Рыжики лежали плотно, слоями, оранжевые, с зеленоватыми пятнами, переложенные листьями хрена и смородины. Красивые были рыжики. Зоя Серафимовна солила их по какому-то своему рецепту, который не рассказывала никому, даже бабушке, и бабушка ее за это уважала и немного недолюбливала. «Сын», – подумала Маша и сама удивилась, зачем ей это. Какое ей дело до Воронова, его сына, его красной машины и его скандалов? Никакого. Совершенно. Она взяла банку и понесла в дом.

На кухне бабушка стояла у стола, вся в муке до локтей, и раскатывала тесто старой деревянной скалкой. Скалка была еще прабабушкина, из какого-то темного, почти черного дерева, отполированная руками до блеска. Тесто было желтоватое, мягкое, и пахло от него так, что у Маши немедленно заурчало в животе: сливочным маслом, ванилью и немного дрожжами. На подоконнике, в эмалированной миске, лежали уже очищенные и нарезанные дольками яблоки, пересыпанные корицей и сахаром. Они пустили сок, и сок был светлый, чуть мутный, с коричневыми крапинками.

– Рыжики от Зои Серафимовны, – сказала Маша и поставила банку на табуретку у двери. – С хреновым листом, как ты любишь.

– Как я люблю, – фыркнула бабушка, не отрываясь от теста. – Я люблю с дубовым. С хреновым листом их солила моя свекровь, мать твоего деда, царствие ей небесное, ужасная была женщина. А Зоя эту моду переняла и думает, что мне угождает. Ну ладно, пусть стоят. Что она еще сказала?

– Сказала, что у Воронова вчера был скандал. С сыном. Бабушкина скалка на секунду остановилась. Совсем ненадолго, может быть, на полсекунды, но Маша заметила. У нее вообще была дурацкая привычка замечать мелочи, которые другие люди пропускают. Бабушка говорила, что это от отца, Машиного деда, который был геологом и мог по одному камню на дороге рассказать, какая порода лежит на два километра вглубь. Глеб говорил, что это от занудства. Маша ничего не говорила, просто замечала, и все.

– Скандал, – повторила бабушка и снова покатила скалку. – Ну, у маркизов всегда скандалы. На то они и маркизы. Подай-ка мне форму, она в нижнем шкафу, большая, разъемная. Маша достала форму, старую, с облупившимся по краю покрытием, и поставила на стол. Бабушка ловко подняла тесто на скалке, перенесла в форму, расправила, подогнула края пальцами. Делала она это быстро и точно, не глядя, и Маша в который раз подумала, что бабушка могла бы стать прекрасным реставратором, если бы не была актрисой. Руки у нее были такие же, как у самой Маши, длинные, с сильными пальцами, только в морщинах и с тремя кольцами, которые она никогда не снимала, даже когда месила тесто.

– Ба, – сказала Маша, – ты мне скажешь, кого мы ждем?

– Машенька, ну я же говорю...

– Ты говоришь про собес. Собес не звонит в семь утра. И ради собеса ты не надеваешь жемчуг. Бабушка вздохнула, высыпала яблоки в форму, разровняла их ложкой, сверху положила полоски теста, сплела их решеткой, тоже быстро, не задумываясь. Потом смазала все взбитым яйцом из чашки, при помощи кисточки, которая когда-то, вероятно, была для акварели, и только после этого повернулась к Маше.

– Хорошо, – сказала она. – Я тебе скажу. Но ты не сердись.

– Я уже сержусь.

– Тогда я не скажу.

– Ба!

– Ну хорошо, хорошо. – Бабушка взяла форму обеими руками и понесла к духовке, Маша открыла ей дверцу. Пахнуло жаром. Форма встала на решетку, дверца захлопнулась, и бабушка, отряхивая руки от муки, повернулась к внучке с видом человека, готового к расстрелу.

– Мне вчера вечером позвонил некий господин Тарасов. Вениамин Павлович. Очень вежливый мужчина, такой, знаешь, старой школы, сейчас таких уже не делают. Он сказал, что он адвокат. И что он хотел бы поговорить с Марией Андреевной Верещагиной по поводу одного деликатного заказа. А я сказала, что Мария Андреевна сейчас занята, но с удовольствием его примет сегодня в десять. Маша открыла рот, закрыла, снова открыла.

– Почему ты мне вчера не сказала?

– Потому что ты бы отказалась, – спокойно ответила бабушка. – Ты всегда отказываешься. Тебе звонят с хорошим заказом, а ты говоришь, что у тебя загрузка, что у тебя требник, что ты не успеваешь, что ты не берешь срочное. А у нас крыша течет. И котел этот, Маша, я тебе скажу, долго не протянет, я его знаю, он мне по ночам стонет. И Марик опять без денег, я по голосу слышу. И тебе самой, если хочешь знать, давно пора выйти из своего сарая и посмотреть на людей. Хоть на адвоката. Адвокаты тоже люди, я, по крайней мере, надеюсь.

– Ба, это не сарай. Это мастерская.

– Это сарай, Машенька, – нежно сказала бабушка. – Сарай с японской бумагой. Иди переоденься, на тебе этот кардиган с дыркой на локте. Маша посмотрела на свой локоть. Дырка действительно была. Небольшая, но заметная, с торчащими во все стороны серыми петлями. Кардиган она связала сама, три года назад, из толстой исландской шерсти. Он был огромный, теплый, уютный и единственный, в котором ей хотелось жить, и дырку на локте она, кажется, видела уже неделю, все собиралась заштопать и все забывала.

– Какой заказ? – спросила она.

– Он не сказал. Сказал, при встрече. Сказал, что заказ срочный и что гонорар, – бабушка сделала паузу, совершенно театральную, – соответствующий. Я спросила, чему соответствующий. Он сказал: «Срочности, Аглая Петровна». Ну разве не прелесть?

– А чей адвокат? Бабушка отвернулась к плите и стала очень внимательно смотреть на чайник, который вообще-то не кипел и кипеть не собирался, потому что был выключен. – Ба.

– Платона Андреевича Воронова, – сказала бабушка чайнику. Маша села на табуретку. Табуретка была та, на которой стояли рыжики, и она едва успела подхватить банку, прежде чем та полетела на пол. Поставила банку на колени и замерла так, обнимая трехлитровую тару с грибами, как ребенка.

– Того самого?

– А что, у нас в Снегирях их два? – удивилась бабушка. – Того самого. Маркиза.

– Но он же... – Маша не знала, как закончить. Но он же что? Он же богатый? Он же неприятный? Он же снес яблоневый сад членкора? Он же собирает рукописи Пушкина, а она реставрирует требники за шесть тысяч рублей и банку меда от батюшки? – Он же коллекционер, – наконец сказала она. – Он работает с большими лабораториями. Почему я?

– Вот у него и спросишь, – сказала бабушка и посмотрела на часы над дверью. Часы были с кукушкой, кукушка давно не куковала, но ходили они исправно. – Без двадцати десять. Иди переоденься. И очки протри. И волосы, Маша, ну что это такое, собери ты их хоть в косу, ты же не Офелия. Маша посмотрела на себя в стекло кухонного буфета. Оттуда на нее смотрела высокая женщина с длинными русыми волосами, которые она забыла причесать с утра и которые теперь торчали вокруг головы во все стороны, как у одуванчика. Очки опять сползли на нос. На щеке было пятно от клейстера. На кардигане дырка. Под кардиганом старая фланелевая рубашка в клетку, мужская, которую она когда-то утащила у Глеба и почему-то не выбросила

после развода, хотя выбросила все остальное. «Ладно, – подумала она. – Посмотрим, что за деликатный заказ».

Адвокат приехал в десять минут одиннадцатого, и Маша сразу поняла, почему он опоздал. Машину он оставил на въезде в улицу, потому что дальше начиналась знаменитая снегиревская лужа. Лужа эта появлялась каждую осень на одном и том же месте, между участком Верещагиных и участком покойного профессора Лебедева, и держалась до самых холодов. Председатель дачного товарищества много раз обещал ее засыпать щебнем, и щебень даже привозили однажды, лет пять назад. Но щебень исчез за одну ночь, никто так и не узнал, куда, а лужа осталась. Она была глубокая, коричневая, с радужными разводами бензина по поверхности. В середине у нее имелся островок из битого кирпича, по которому местные умели проходить, не замочив ног, а приезжие не умели. Вениамин Павлович Тарасов не умел. Маша увидела его из окна веранды: худой пожилой человек в темном пальто, под черным зонтом, осторожно ступал по краю лужи, глядя себе под ноги. На ногах у него были ботинки, а поверх ботинок, Маша не поверила своим глазам, галоши. Самые настоящие, черные, блестящие, какие носили в пятидесятых годах. Маша в последний раз видела такие на дедушке, лет двадцать пять назад. Он шел медленно и сосредоточенно, как сапер по минному полю, и почти уже дошел до калитки, когда левая галоша соскользнула с кирпича и ушла в воду по щиколотку. Адвокат остановился. Постоял. Вытащил ногу, посмотрел на нее. Галоша, по всей видимости, осталась в луже.

– Ой, – сказала бабушка, которая стояла у Маши за спиной и тоже смотрела. – Ой, бедный.

Маша, не раздумывая, сунула ноги в резиновые сапоги, стоявшие у двери, и выскочила под дождь. Без зонта, без куртки, в чем была: в джинсах и голубом свитере, который бабушка все-таки заставила ее надеть вместо кардигана. Волосы она успела собрать в косу, наспех, и коса тут же намокла и прилипла к спине.

– Стойте, стойте, не двигайтесь! – крикнула она, подбегая. – Там дальше глубоко, вы туда не наступайте. Адвокат стоял на одной ноге, как цапля, держа зонт в одной руке и портфель в другой. Он посмотрел на Машу с таким выражением вежливой беспомощности, что ей сразу стало его жалко.

Мария Андреевна? – спросил он. – Простите, ради бога. Я, кажется, потерял...

– Вижу. Сейчас. Она шагнула в лужу (сапоги ушли в воду почти до края голенища), наклонилась, пошарила рукой в мутной холодной воде и почти сразу нащупала скользкую резину. Вытащила галошу, вылила из нее воду и протянула адвокату. – Держите. Давайте руку, тут по кирпичам. Вот так. Еще шаг. Все. Через полминуты они были за калиткой, на дорожке из старых бетонных плит, которая вела к дому. Адвокат стоял, тяжело дыша, с галошей в руке, и Маша увидела, что ему лет семьдесят, а может быть, и больше. Лицо у него было узкое, желтоватое, с аккуратными седыми усиками, а глаза за стеклами старомодных очков в металлической оправе смотрели внимательно и немного печально, как у старой собаки, которая много видела и уже ничему не удивляется.

– Благодарю вас, – сказал он. – Вы меня, можно сказать, спасли. Я, знаете, человек городской. Платон Андреевич мне говорил: «Веня, бери машину с водителем, там у них Венеция». А я подумал: ну что там, улица, в Подмосковье, двадцать первый век. И вот, извольте. Я, к слову, Вениамин Павлович Тарасов, мы с вашей бабушкой говорили по телефону.

– Я знаю, – сказала Маша. – Проходите, пожалуйста. Вам нужно ноги согреть, вы же простудитесь. Бабушка ждала на крыльце, и вид у нее был такой, что Маша сразу поняла: спектакль начался. Жемчуг сиял, глаза сияли, серая юбка лежала безупречными складками, а на плечи была наброшена старая оренбургская шаль, пуховая, тонкая, которую бабушка доставала только по очень большим праздникам, например, на день рождения Островского.

– Вениамин Павлович! – воскликнула она тем самым голосом, бархатным, с легкой хрипотцой, от которого когда-то, говорят, падали в обморок поклонники у служебного входа. – Боже мой, какой ужас, эта наша лужа, она уже троих сожрала, вы четвертый! Проходите, проходите скорее, я вам сейчас носки дам, шерстяные, сама вязала. Маша, что ты стоишь, помоги человеку раздеться!

Адвоката раздели, разули, усадили в плетеное кресло у печки, ноги ему завернули в старый клетчатый плед, а на ноги поверх пледа натянули бабушкины шерстяные носки, серые, с красной полоской. Он не сопротивлялся. Он сидел в кресле с видом человека, который попал в какую-то совершенно иную реальность и решил пока не задавать вопросов. Фунтик, разбуженный суетой, спрыгнул с соседнего кресла, подошел к гостю, понюхал его ногу в носке и, по всей видимости, остался доволен, потому что тут же взгромоздился ему на колени. Все девять килограммов. Адвокат охнул.

– Фунтик! – возмутилась бабушка. – Немедленно слезь с человека!

– Нет, нет, ничего, – сказал Вениамин Павлович слабым голосом, и рука его, худая, в пигментных пятнах, сама собой легла коту на спину. – Пусть. У меня тоже был кот. Давно. Тоже рыжий. Его звали Вольтер. Фунтик замурчал так громко, что задребезжали ложки в стакане на столе. Маша, глядя на это, подумала, что кот, конечно, знает, что делает. Фунтик всегда знал, к кому идти на колени. Глеба он, к примеру, за все пять лет их брака ни разу не удостоил своим вниманием. Один раз, правда, помочился ему в ботинок. Тогда Маша думала, что это случайность.

Бабушка заварила чай. Это было целое действо, которое Маша наблюдала с детства и которое никогда ей не надоедало. Сначала чайник ополаскивали кипятком, потом в него насыпали три ложки черного чая, не какого-нибудь, а того, что бабушка покупала на рынке у старого азербайджанца в Звенигороде и держала в жестяной банке с драконами. Добавляли щепотку мяты из сада, засушенной еще в июле, и одну веточку чабреца, и один листок смородины. Заливали кипятком не до краев, а на две трети, накрывали сверху льняной салфеткой и ждали ровно пять минут, ни секундой меньше. Бабушка в эти пять минут не разговаривала. Она говорила, что чай, как хорошая пьеса, требует тишины в зале. Пока чай заваривался, из кухни запахло пирогом. Сначала тихо, неуверенно, а потом все сильнее: печеными яблоками, корицей, сливочным маслом и чем-то еще, неуловимым, теплым, отчего у Маши сразу защемило где-то под ложечкой. Это был запах ее детства, всех ее октябрей, всех воскресений на этой даче, когда родители были живы и приезжали на выходные, и папа сидел на этой самой веранде с газетой, а мама в саду собирала яблоки в подол.

– Чудесно пахнет, – сказал адвокат и даже прикрыл глаза.

– Через двадцать минут будет готов, – сообщила бабушка. – С антоновкой. Вы пробовали когда-нибудь пирог с настоящей антоновкой, Вениамин Павлович? Не с этой магазинной ерундой, которую привозят из Польши, а с настоящей, подмосковной, выдержанной?

– Боюсь, что нет.

– Тогда вы никуда не поедете, пока не попробуете. Адвокат посмотрел на нее, потом на Машу, потом на Фунтика у себя на коленях, и в его печальных глазах что-то промелькнуло, может быть, улыбка, а может быть, просто отблеск огня из печной дверцы.

– Я, знаете, никуда и не тороплюсь, – сказал он. – Платон Андреевич ждет меня к обеду. Бабушка разлила чай. Чашки были старые, кузнецовского фарфора, тонкие, с золотым ободком, одна с трещинкой. Трещинку бабушка всегда ставила себе. Сахар был в сахарнице, кусковой, тот самый, который спасли от Фунтика. К чаю бабушка поставила вазочку с вишневым вареньем, прошлогодним, темным, густым, и тарелку с сушками, и плошку меда, гречишного, почти черного, который батюшка из Рузы привез вместе с требником.

Маша села напротив адвоката, обхватила свою чашку обеими руками и сказала:

– Вениамин Павлович, может быть, вы мне все-таки расскажете, в чем дело? Адвокат вздохнул. Вытащил из-под Фунтика руку (кот недовольно приоткрыл один глаз), поставил на колено портфель, старый, кожаный, потертый на углах, с латунным замочком, и открыл его. Достал оттуда папку, из папки один лист, отпечатанный на принтере, и протянул Маше.

– Это договор, – сказал он. – Предварительный, разумеется, мы можем обсудить детали. Но сначала, Мария Андреевна, мне нужно ваше слово, что все, что я вам сейчас расскажу, останется между нами. Даже если вы откажетесь.

– Вы хотите, чтобы я подписала соглашение о неразглашении?

– Нет-нет, – слегка смутился адвокат. – Бумаги – это потом. Сейчас мне нужно просто ваше слово. Платон Андреевич сказал, что вашему слову можно верить. Он сказал: «Если Верещагина пообещает, она не скажет». Маша удивилась. Ей стало так странно, что она даже очки поправила, хотя они на этот раз никуда не сползли.

– Откуда он может это знать? Мы с ним не знакомы.

– Вы не знакомы, – согласился адвокат. – Но он знал вашего деда. Андрея Николаевича. Андрей Николаевич ведь, если не ошибаюсь, тоже был человеком слова. Бабушка, которая стояла у буфета, сделала какое-то легкое движение. Маша обернулась к ней, но бабушка уже снова стояла неподвижно, и лицо у нее было совершенно непроницаемое, как у актрисы, ждущей своей реплики за кулисами. Только пальцы чуть-чуть теребили жемчуг на шее.

– Мой дед, – медленно проговорила Маша, – был геологом. Он умер шестнадцать лет назад. Как он мог знать Воронова?

– Ну, Снегири небольшой поселок, – уклончиво сказал адвокат и снова погладил Фунтика. – Все так или иначе знают друг друга. Так что же, Мария Андреевна? Даете слово? Маша подумала. Подумала она недолго, может быть, секунды три, и за эти три секунды успела представить себе крышу, которая течет, котел, который стонет по ночам, Марика, который опять без денег, свой «сарай», как называла его бабушка, где пахнет клейстером и где никто, кроме батюшки из Рузы и пары частных клиентов, не бывал уже, наверное, полгода. И еще она успела подумать, что ей, вообще-то, интересно. Ужасно, неприлично, по-детски интересно, что там у маркиза де Карабаса такое, что он прислал за ней адвоката в галошах.

– Даю, – сказала она. Вениамин Павлович кивнул, как будто ничего другого и не ожидал. Снял очки, протер их платком, большим, клетчатым, достав его из нагрудного кармана пиджака, снова надел. Потом сложил руки на животе, поверх кошачьей спины, и заговорил тем ровным голосом, каким, наверное, зачитывал в суде скучные документы.

– У Платона Андреевича есть одна книга, – начал он. – Вернее сказать, у Платона Андреевича много книг, около одиннадцати тысяч единиц хранения, если считать рукописи и автографы. Но есть одна, которая для него особенно ценна. Ценна не в рыночном смысле, хотя и в рыночном тоже. Это семейная хроника рода Вороновых. Ее вел прапрадед Платона Андреевича, Никифор Воронов, купец второй гильдии, с тысяча восемьсот двадцать шестого года и до своей смерти, а потом его сын, и так далее, почти до самой революции. Там записи о рождениях, смертях, свадьбах, торговых делах, урожаях, пожарах. Обычная, в общем, вещь для купеческого рода. Таких хроник сохранилось немало. Но эта, видите ли, переплетена особым образом.

– В каком смысле особым?

– В шагреневую кожу. – Адвокат произнес это так, будто «шагреневая кожа» была названием какой-то болезни. – Темно-зеленую, с тиснением. Переплет делал московский мастер, известный в свое время, Иван Сазонов, у него была мастерская на Никольской. Платон Андреевич говорит, что Сазонов в тот год, в тридцать каком-то, сделал два одинаковых переплета для двух разных книг. Он так и говорит: «У моей хроники есть сестра». Я, честно признаться, в эти тонкости не вникаю, я юрист, а не библиофил. Но для Платона Андреевича это очень

важно. Маша слушала и чувствовала, как у нее начинают покалывать кончики пальцев. Так всегда бывало, когда речь заходила о чем-то по-настоящему интересном.

Шагреневая кожа первой трети девятнадцатого века. Московский переплетчик. Купеческая хроника. Два переплета-близнеца. Это было, как если бы Фунтику, всю жизнь евшему сухой корм, вдруг поставили миску живой форели.

– И что с ней случилось? – спросила она.

– С хроникой? – Она в плохом состоянии. Ну, то есть, – адвокат поморщился, подыскивая слово, – в не идеальном. Корешок, говорит Платон Андреевич, треснул, несколько тетрадей отходят, на коже пятна. Он хотел бы привести ее в порядок. Срочно.

– Насколько срочно?

– За три дня.

Маша поставила чашку на блюдце. Поставила аккуратно, но чашка все равно звякнула, и бабушка у буфета болезненно сморщилась, потому что это был кузнецовский фарфор.

– Вениамин Павлович, – сказала Маша как можно мягче. – Вы понимаете, что это невозможно?

– Платон Андреевич предполагал, что вы так скажете.

– Нормальная реставрация переплета такого возраста занимает недели. А иногда месяцы. Нужно сделать анализ кожи, подобрать материалы, клей, нитки. Если тетради отходят, нужно, возможно, расшивать блок и шить заново. Кожу нужно консервировать, это отдельный процесс, она должна высыхать. За три дня можно только... – Она запнулась.

– Только что? – с интересом спросил адвокат.

– Ну, косметику какую-то навести, – неохотно сказала Маша. – Подклеить, подтонировать. Укрепить корешок временно. Чтобы книга выглядела прилично и не рассыпалась в руках. Но это не реставрация. Это, если хотите, грим.

– Вот, – обрадовался Вениамин Павлович. – Вот именно это Платону Андреевичу и нужно. Грим. Он так и сказал. Ну, может быть, не этими словами, но смысл был такой. Бабушка у буфета тихо хмыкнула. Слово «грим» она, по всей видимости, оценила.

– А зачем ему грим? – спросила Маша. – Через три дня. Что будет через три дня? Адвокат посмотрел на нее поверх очков долгим взглядом. Маша подумала, что он сейчас скажет «не могу знать» или «это конфиденциально», но он сказал другое.

– В субботу в дом приезжает оценочная комиссия. Платон Андреевич собирается выставить часть коллекции на торги. Весной, в Москве. Не хронику, разумеется. Хронику он не продаст никогда, он мне сам говорил. Но он хочет показать ее комиссии в достойном виде. Видите ли, – адвокат вздохнул, – Платон Андреевич человек гордый. Он не любит, когда его вещи выглядят... обветшавшими. А комиссия будет от очень солидного аукционного дома. Вместе с ними приедет их страховщик, служба безопасности. Платон Андреевич хочет, чтобы все было безупречно.

– А почему не сделать это потом? После комиссии? Спокойно, нормально, в его же лаборатории?

– У него нет лаборатории.

Маша удивилась. – У человека с одиннадцатью тысячами единиц хранения нет реставрационной лаборатории?

– Была, – сказал адвокат. – Долго была. При доме. Ей заведовал хранитель библиотеки, Аркадий Львович Зимин. Прекрасный специалист, между прочим, ученик самого Кривошеина. Вы, наверное, слышали. Маша слышала. Кривошеин был легендой. В реставрационном мире его имя произносили примерно так, как в театральном произносят имя Станиславского. Он умер лет десять назад, ему было за девяносто, и до самого конца, говорят, сам шил книжные блоки дрожащими руками, и шов у него получался ровнее, чем у молодых. Маша видела его один раз, на конференции в Ленинке, когда была на втором курсе. Он сидел в первом ряду,

маленький, сухой, в огромных очках, и всю конференцию, кажется, проспал. А в конце встал и задал докладчику один вопрос, от которого тот покраснел и полчаса не мог ничего ответить.

– Слышала, – сказала она. – И что же Аркадий Львович?

Адвокат помолчал. Погладил Фунтика. Посмотрел в окно, где по стеклу ползли капли, сливались и снова расползались.

– Платон Андреевич больше не хочет, чтобы Аркадий Львович прикасался к хронике, – наконец сказал он. – Почему, я не знаю. Он мне не объяснил. Он вообще в последнее время, – адвокат снова замялся, и Маше показалось, что он говорит больше, чем собирался, – стал очень недоверчив. Ко всем. К домашним. К персоналу. Даже ко мне, если хотите знать, хотя я веду его дела двадцать восемь лет. Ему, как бы это сказать, кажется, что в доме что-то не так. – Что не так? – Не знаю. – Вениамин Павлович развел руками, и Фунтик, недовольный тем, что его перестали гладить, открыл оба глаза и посмотрел на адвоката укоризненно. – Честное слово, не знаю. Возможно, это просто возраст. Платону Андреевичу шестьдесят семь. У него было два инфаркта. Люди в таком возрасте иногда становятся... подозрительными. Но заказ от этого, как вы понимаете, не перестает быть заказом. Маша молчала. Бабушка тоже молчала, и на веранде стало так тихо, что было слышно, как стучит дождь по крыше, как булькает труба у крыльца и как в кухне потрескивают в духовке края пирога.

– Сколько? – спросила наконец Маша. Адвокат взял из ее рук лист договора, который она, оказывается, все это время держала, так и не прочитав, перевернул и показал пальцем на цифру внизу. Маша посмотрела на цифру. Потом сняла очки, протерла их краем свитера, снова надела и посмотрела еще раз. Цифра не изменилась. – Это за три дня? – спросила она.

– Это аванс, – мягко сказал адвокат. – Половина. Вторая половина после того, как работа будет принята. У буфета снова звякнул фарфор. На этот раз чашку уронила бабушка. Не уронила даже, а поставила на блюдце так неловко, что та подпрыгнула. Аглая Петровна Верещагина, сорок лет проработавшая на сцене, игравшая Кручинину, Огудалову и Гурмыжскую, никогда в жизни ничего не роняла. Даже когда на премьере «Леса» в семьдесят девятом году у нее за кулисами случился приступ аппендицита, она доиграла второй акт до конца и только потом позволила себя унести на носилках. Маша посмотрела на бабушку. Бабушка посмотрела на Машу. Потом обе посмотрели на адвоката.

– Я понимаю, – сказал Вениамин Павлович, – сумма несколько необычная. Но Платон Андреевич просил передать, что он платит не только за работу. Он платит за срочность и за молчание. Никто не должен знать, что хроника покидала дом. Никто. Ни Элеонора Сергеевна, это его супруга, ни Антон Платонович, это сын, ни Аркадий Львович, ни экономка, никто. Вы работаете у себя, в своей мастерской. Платон Андреевич сам передаст вам книгу, лично в руки, и вы лично в руки вернете ее ему в пятницу вечером. Он надеется, что вы сможете приехать сегодня, к четырем, посмотреть хронику и, если согласитесь, забрать ее.

– Сегодня?

– Если вам удобно.

Маше было неудобно. У нее был требник, батюшка из Рузы обещал приехать за ним через две недели. Было еще два альбома с открытками, которые надо было вернуть к концу месяца. У нее была дырка на локте и непричесанная голова, и вообще она терпеть не могла, когда ее торопят. Но где-то глубоко внутри, под всем этим, тихонько звенел маленький колокольчик. Шагреневая кожа. Сазонов. Сестра. «Ему кажется, что в доме что-то не так». И этот колокольчик звенел все громче и громче, пока не заглушил все остальное.

– Хорошо, – сказала Маша. – Я приеду. Посмотрю. Но я ничего не обещаю, пока не увижу книгу.

– Разумеется, – с облегчением сказал адвокат и откинулся в кресле. Фунтик на его коленях недовольно мявкнул. – Разумеется. Платон Андреевич будет рад. И тут из кухни запахло горелым.

– Пирог! – воскликнула бабушка трагическим голосом и бросилась в кухню, подхватив подол юбки, как будто это было бальное платье, а кухня была объятой пламенем Москвой двенадцатого года.

Пирог, к счастью, не сгорел. Подгорел только краешек решетки с одной стороны, там, где у старой духовки был перекос и жар шел сильнее. Бабушка этот краешек отрезала и отдала Фунтику, который подгоревшее тесто обожал и считал своей законной добычей. Остальной пирог стоял на столе, золотистый, с хрустящей корочкой. Сквозь решетку виднелись мягкие, почти прозрачные дольки яблок, а в щелях пузырился коричневый карамельный сок. Корицей пахло на всю веранду. Адвокат съел два куска. Потом, после долгих уговоров, третий, маленький, «исключительно из уважения к хозяйке». Потом выпил еще две чашки чаю и, кажется, совсем забыл и о том, что его ждут к обеду, и о мокрых ботинках, сохнувших у печки, и о галоше, которую Маша выудила из лужи. Он сидел в кресле, в бабушкиных носках, с Фунтиком на коленях, и рассказывал бабушке о своем коте Вольтере. Тот прожил двадцать один год и умер в девяносто восьмом, в дефолт, «как будто тоже решил, что с него хватит».

Бабушка слушала, подперев щеку ладонью, кивала и время от времени вставляла что-нибудь из Островского. Маша смотрела на них и думала, что бабушка, конечно, гениальная актриса. Что это все, носки, пирог, Вольтер, Островский, неспроста. Что бабушка сейчас, вот прямо в эту самую минуту, работает. Как опытный следователь на допросе, только вместо лампы в лицо у нее пирог с антоновкой, а вместо угроз – шерстяные носки и сочувственные вздохи. И адвокат, этот вежливый, осторожный, много повидавший адвокат, уже почти раскололся, хотя сам еще об этом не догадывается.

– А Платон Андреевич, – как бы между прочим спросила бабушка, подливая гостю чаю, – он ведь, кажется, был женат первым браком на Наталье... как же ее... Наталье Георгиевне?

– Николаевне, – поправил адвокат. – Наталья Николаевна. Да, был. Давно. Они развелись в девяносто четвертом.

– Ах, да, да. Я ее помню. Она у нас в театре одно время работала, в литературной части. Такая была тихая, интеллигентная женщина. С мальчиком маленьким.

– С Антоном, – кивнул адвокат.

– Да. – И что же она? Жива?

– Умерла. В две тысячи девятом. Рак. – Адвокат помолчал и добавил: – Платон Андреевич не был на похоронах.

– Боже мой, – вздохнула бабушка. – Как печально. А мальчик? Антон? Он ведь, кажется, тоже по театральной части?

– Режиссер, – сказал адвокат, и в его голосе что-то едва уловимо изменилось, стало суше. – Ставит спектакли. Небольшие, в основном. Экспериментальные. Платон Андреевич, видите ли, не очень одобряет. Он считает, что театр – это несерьезно. – Несерьезно!

Бабушка всплеснула руками и даже чуть привстала, как будто ее лично оскорбили, и Маша увидела, что на этот раз она нисколько не играет.

– Несерьезно! А книжки собирать, значит, серьезно? Чужие письма покупать, чужие дневники? Это серьезно? Нет, вы меня простите, Вениамин Павлович, но ваш Платон Андреевич...

– Ба, – сказала Маша.

– Ну что «ба»? Что «ба»? Я сорок лет на сцене!

– Я не спорю, Аглая Петровна, – мягко сказал адвокат, и в его печальных глазах снова мелькнуло что-то похожее на улыбку. – Я, если честно, сам люблю театр. Хожу, когда получается. Но Платона Андреевича не переубедишь. Он и сыну так говорит. Вот вчера, например... Он вдруг замолчал. Замолчал на полуслове и потянулся за чашкой, как будто ему вдруг очень захотелось пить. Бабушка ничего не сказала. Она только подвинула к нему вазочку с вишневым вареньем и тихо, ласково, совсем другим голосом, без всякого театра, произнесла:

– Вы попробуйте варенье. Это вишня из нашего сада. Мой покойный муж сажал, Андрей Николаевич. Еще в шестьдесят восьмом. Адвокат положил себе варенья, попробовал. Посмотрел в окно, на мокрый сад, на черные яблони, на забор и на островерхую крышу вдалеке, за соснами.

– Андрей Николаевич, – повторил он задумчиво. – Да. Я помню, как они с Платоном Андреевичем однажды... – Он снова замолчал, покачал головой. – Нет. Извините. Это старая история, к делу не относится.

– Какая история? – спросила Маша. Она спросила это прежде, чем успела подумать, что спрашивать невежливо. У нее такое часто случалось. Вопрос выскакивал сам по себе, без разрешения, просто потому, что она вдруг заметила какую-то нитку, торчащую из ткани, и ей обязательно надо было за эту нитку потянуть. Адвокат посмотрел на нее внимательно и долго. Потом аккуратно поставил чашку на блюдце, снял с колен Фунтика (кот протестующе зашипел, но слез) и встал.

– Мне пора, – сказал он. – Благодарю вас, Аглая Петровна, за чудесный пирог и за чай. И за носки. Я их, с вашего позволения, верну. Мария Андреевна, мы ждем вас в четыре. Ворота будут открыты. Скажите охране, что вы ко мне, вас проводят.

– А если я все-таки откажусь? – спросила Маша. – После того, как посмотрю?

– Тогда вы просто откажетесь, – пожал плечами адвокат. – И забудете все, что я вам сегодня говорил. Вы ведь дали слово. Он натянул свои еще сырые ботинки, поморщился, надел поверх них галоши, взял зонт и портфель. Маша проводила его до калитки, а потом и через лужу, по кирпичам, держа под локоть. У машины, большой, черной, совершенно неуместной на этой узкой дачной улице между покосившимися заборами, он остановился, повернулся к ней и вдруг сказал:

– Мария Андреевна. Вы будьте там, пожалуйста, осторожнее.

– Где? – не поняла Маша.

– В доме. – Он помолчал. Дождь стучал по его черному зонту, капли стекали по спицам и падали ему на плечи. – Это, разумеется, не мое дело. Я только адвокат. Но я знаю этот дом двадцать восемь лет. И я давно не видел Платона Андреевича таким. Он чего-то боится. А Платон Андреевич ничего никогда не боялся. Ни в девяностые, ни потом. Даже когда его хотели... ну, неважно. Просто будьте осторожнее. Ничего не ешьте и не пейте там, если можете, ничего ни у кого не берите. И никому не говорите, что вы туда приехали работать. Пусть думают, что вы просто соседка и зашли в гости. Он сел в машину, хлопнула дверца, и машина медленно, переваливаясь на ухабах, поехала к выезду из поселка. Маша стояла и смотрела ей вслед. Дождь лил ей на голову, коса совсем промокла, и вода затекала за воротник свитера, но она не замечала. «Ничего не ешьте и не пейте». Это вообще что такое было? Она обернулась и посмотрела на крышу с флюгером. Флюгер, черный кованый ворон, торчал на шпиле башни, повернувшись клювом на запад, против ветра. Как будто тоже чего-то ждал.

Когда она вернулась на веранду, бабушка сидела в кресле, где только что сидел адвокат, с Фунтиком на коленях, и смотрела в одну точку. Жемчуг она сняла, и он лежал рядом на столе, свернувшись на скатерти, как маленькая белая змейка. Шаль сползла у нее с одного плеча. Лицо у бабушки было усталое, без всякого грима, и Маша вдруг увидела, какая она старая. Обычно она этого не замечала. Бабушка всегда была бабушкой, в жемчугах, с Островским, с пирогами, вечная, как Снегири, как яблоневый сад. Но вот сейчас, в сером дождевом свете, без сцены и без зрителей, ей было ровно семьдесят восемь, и ни днем меньше.

– Ба, – сказала Маша, садясь напротив. – Что это было?

– Что именно?

– Про деда. Откуда Воронов знал деда? Бабушка молчала. Гладила Фунтика. Фунтик мурчал, но тихо, вполголоса, как будто понимал, что сейчас не время для громких звуков.

– Они были соседями, – наконец сказала она. – Давно. Еще до того, как Платон построил этот свой сарай с башней. Он ведь купил участок у Ковригина, у членкора, а Ковригин дружил с Андреем. Платон тогда к Ковригину приезжал часто, все уговаривал продать. Ну и с Андреем познакомился. Они разговаривали иногда. О книгах, о камнях. Андрей ведь тоже собирал, ты помнишь, у него была целая полка старых геологических атласов. Платон хотел у него их купить, а Андрей не продавал.

– И все?

– И все, – сказала бабушка, и Маша поняла, что это не все. Бабушка, когда врала, всегда смотрела прямо в глаза, открыто и честно, как Офелия перед тем, как сойти с ума. Вот и сейчас она смотрела Маше прямо в глаза.

– Ты поедешь?

– Поеду, – сказала Маша. – Посмотрю хотя бы. Шагреневая кожа, ба. Тридцатые годы. Сазонов. Я про него только в книжках читала.

– Ну и поезжай. – Бабушка вздохнула, сняла Фунтика с коленей и встала, поправляя шаль. – Только надень что-нибудь приличное. Не этот твой кардиган. И волосы высуши, ты простудишься. И вот что, Маша...

– Что? Бабушка помолчала. Подошла к окну, посмотрела на сад, на дождь, на крышу с флюгером.

– Ничего, – сказала она. – Поезжай. Посмотри. А вечером расскажешь. Я к ужину котлет нажарю, Марик звонил, говорит, заедет. Опять, наверное, голодный, как волк. – Когда он звонил?

– Пока ты адвоката через лужу водила. Сказал, будет к восьми. Сказал, у него какая-то новая игрушка, хочет показать. Я так поняла, опять эта его летающая штука. – Бабушка поморщилась. – Ты ему скажи, чтобы он ее над Зоиной теплицей не запускал. Она в прошлый раз чуть в милицию не позвонила, решила, что за ней шпионят.

– Ба, за Зоей Серафимовной никто не будет шпионить. Она сама за всеми шпионит.

– Вот поэтому и решила, – сказала бабушка, и в глазах у нее на секунду снова мелькнула прежняя искорка.

– Рыбак рыбака, Маша. Рыбак рыбака. Она ушла в кухню, и вскоре оттуда донесся стук ножа по доске. Бабушка всегда что-нибудь резала, когда волновалась. Лук, морковку, капусту, неважно что. Говорила, что это успокаивает лучше валерьянки. Маша осталась на веранде одна, если не считать Фунтика. Кот, лишившись бабушкиных колен, подошел к ней, посмотрел снизу вверх своими круглыми янтарными глазами, потом вспрыгнул на стол (Маша не стала его прогонять), лег на скатерть рядом с жемчугом и положил на него лапу, как будто охранял.

Маша сидела, смотрела на кота и на жемчуг и думала о том, что утро, начавшееся с осыпающегося требника и рыжего кота на свежей скатерти, вдруг повернулось куда-то совсем не туда. О том, что на столе лежит договор с цифрой, от которой у бабушки дрогнула рука. Что в четыре часа ее ждет в замке с башней человек, который знал ее деда и которого все боятся, а он сам боится чего-то. И что старый адвокат в галошах посоветовал ей ничего там не есть и не пить, и сказал он это так просто и серьезно, что у нее до сих пор холодели пальцы. Она взяла договор, перечитала его на этот раз внимательно, от первой строчки до последней.

Обычный договор на оказание реставрационных услуг. Срок исполнения три дня, с пятнадцатого по семнадцатое октября включительно. Предмет: «рукописная книга (семейная хроника) в переплете из шагреневой кожи, первая половина XIX века, одна единица». Конфиденциальность. Ответственность сторон. Подпись заказчика: размашистая, крупная, с длинным хвостом у последней буквы. «П. А. Воронов». Внизу, под подписью, мелко, карандашом, совсем другой рукой, кто-то приписал: «Сестру не трогать». Маша поднесла лист к окну, к свету, и стала разглядывать приписку. Карандаш был мягкий, кажется, «2М», нажим слабый, буквы мелкие, с наклоном влево, а такой почерк бывает у левшей или у людей, которых в

детстве переучивали. «Сестру не трогать». Что это значит? Чью сестру? Хроники? Та, вторая книга в таком же переплете, о которой говорил адвокат? И кто это написал? Не Воронов, у Воронова почерк крупный и размашистый, с правым наклоном. Адвокат? Маша попыталась вспомнить, как он держал ручку, когда записывал что-то в блокнот, и не смогла. Кажется, он вообще при ней ничего не записывал. «Ерунда, – сказала она себе. – Какая-нибудь рабочая пометка. Адвокатская. Сестра это, наверное, вообще какой-нибудь пункт договора, а не книга». Но колокольчик внутри звенел. Тонко и настойчиво, как капля, падающая с потолка мастерской в оцинкованный таз.

Она аккуратно сложила договор вдвое и убрала его в карман джинсов. Потом встала, взяла со стола бабушкин жемчуг (Фунтик проводил его укоризненным взглядом) и отнесла в бабушкину комнату. Там положила его в шкатулку на комоде, рядом с фотографией в серебряной рамке, где бабушка, молодая, в кружевном воротнике, смеялась, запрокинув голову, а рядом стоял дед, высокий, худой, в штормовке и с рюкзаком, и смотрел на нее так, как, наверное, смотрят только один раз в жизни. Маша постояла у фотографии. Потом вернулась в мастерскую.

Требник лежал на столе, на беленом картоне, и ждал ее. Ему было двести с лишним лет, его не трогали сто, он мог подождать еще три дня. Маша накрыла его листом папиросной бумаги, сверху положила стеклянную пластину, чтобы не пылился. Потом переставила таз под капелью еще немного левее. Сняла фартук. Посмотрела на часы. Было без четверти двенадцать. До четырех оставалось четыре с лишним часа. Чем заняться, Маша знала совершенно точно. Она подошла к стеллажу у дальней стены и достала оттуда толстую книгу в сером холщовом переплете, без названия на корешке. Это был ее рабочий справочник, который она собирала сама, с университета, по крупицам: выписки, фотографии, образцы тиснения, перерисованные от руки клейма переплетчиков, вырезки из старых каталогов. На букву «С» там было три страницы. Маша перелистала их и нашла. «Сазонов Иван Григорьевич (1791–1858?). Переплетная мастерская на Никольской ул., д. Шереметевского подворья, с 1824 г. Работал для Московского университета, частных библиотек, купеческих домов. Шагрень, сафьян, бархат. Характерные особенности: двойной корешковый шов, узелок на льняной нити...» Дальше шла приписка ее собственной рукой, сделанная много лет назад, синей шариковой ручкой, уже порядком выцветшей: «См. Кривошеин, лекция 2009, о сазоновской школе. Узнать у А.З.».

Маша долго смотрела на эти две буквы. «А.З.». Она совершенно не помнила, кто это. Знакомый? Преподаватель? Кто-то с той самой конференции в Ленинке? Пятнадцать лет назад, университет, второй курс. Тогда в ее жизни было много людей, чьи инициалы она записывала на полях и тут же забывала. За окном мастерской дождь все шел и шел, ровно и основательно, а на пригорке за соснами черный кованый ворон на шпиле все так же смотрел на запад.

Глава 2

Визит в особняк Воронова Без двадцати четыре бабушка вышла на веранду, посмотрела на Машу и сказала, что так в гости не ходят.

– Я не в гости, – сказала Маша. – Я работать.

– Тем более. – Бабушка обошла ее кругом, как портниха вокруг манекена, и остановилась сзади. – Повернись. Нет, это невозможно. Ты похожа на учительницу физики из поселковой школы, у которой сбежал муж.

– У меня и сбежал.

– Не сбежал, а был выставлен, – строго поправила бабушка. – Это большая разница, Маша, и я тебя прошу ее помнить. Хотя бы ради меня.

На Маше были темно-серые брюки, которые она надевала последний раз весной на день рождения Марика, и новый кардиган. Его она связала в августе, но так ни разу и не надела, жалко было. Кардиган был цвета мокрого асфальта, длинный, с большими карманами, без единой дырки. Под ним тонкая белая водолазка. Волосы она заплела во французскую косу и даже заколола у шеи маминой черепаховой заколкой, которая лежала в шкатулке лет десять. На взгляд Маши, она выглядела совершенно прилично. Бабушка так не считала.

– Хотя бы губы накрась, – сказала она.

– Ба, я иду смотреть переплет.

– Переплет посмотрит, а люди увидят, – загадочно ответила бабушка, и Маша решила, что это, наверное, тоже из Островского, хотя там такого, кажется, не было.

Губы она красить не стала. Собрала рабочую сумку, старую, брезентовую, с кожаными уголками, которая досталась ей от деда и в которой он когда-то возил образцы пород. Теперь там лежали лупа с подсветкой, пара нитяных перчаток, нитриловые в упаковке, мягкая колонковая кисть, пинцет, рулетка, блокнот, карандаш и фотоаппарат. Отдельно, под мышку, она взяла короб из бескислотного картона, серый, с завязками, размером чуть больше большой амбарной книги. Если хроника окажется такой, как описывал адвокат, нести ее под зонтом в пакете было бы преступлением.

– Ты там ничего не ешь, – сказала бабушка у калитки, и Маша обернулась. Бабушка стояла на крыльце в своей шали, и лицо у нее было серьезное.

– Ты подслушивала.

– Я стояла у окна. Это разные вещи. Иди, Машенька. И возвращайся к ужину.

Дождь к этому времени поутих, перешел в мелкую морось, которая не падала, а висела в воздухе и оседала на лице и на ресницах. Маша раскрыла зонт и пошла. До дома Воронова было минут десять ходу, если идти по главной улице, мимо станции, и пять, если срезать через березовую рощу за участком профессора Лебедева. В роще было мокро и темно, тропинку развезло, и Маша пошла по улице. Обошла лужу по кирпичам, не глядя, как ходила с детства. У Зои Серафимовны в окне шевельнулась занавеска, и за стеклом на секунду мелькнули баклажановые кудряшки. Маша помахала. Занавеска поспешно задернулась. «Вечером весь поселок будет знать, что я ходила к маркизу, – подумала она. – И в чем я была одета. И что несла в руках».

Улица шла под горку к реке. Старые дачи по сторонам стояли темные, большинство хозяев уехали в город еще в сентябре, только кое-где за заборами светились окна и поднимался из труб дым. Пахло мокрыми листьями и печкой. У дома Беловых, где жила одна старая дама с тремя таксами, все таксы разом вылетели к забору и облаяли Машу, захлебываясь от счастья, что хоть кто-то идет мимо. Маша сказала им: «Ну все, все, я поняла», и таксы, удовлетворенные, ушли под крыльцо. Потом дачи кончились, кончился и асфальт, и началась ограда.

Ограду Воронов поставил тогда же, когда строил дом, и она была ему под стать. Кирпичные столбы через каждые пять метров, между ними кованые решетки с острыми пиками наверху, а за решетками густые туи, высокие, подстриженные, чтобы с улицы ничего нельзя было разглядеть. На столбах сидели камеры, маленькие, белые, с красными огоньками, и Маша, проходя мимо, почему-то почувствовала себя неловко, как будто ее уже в чем-то подозревали. Ворота были открыты, как и обещал адвокат. Вернее, была открыта калитка рядом с воротами, а сами ворота, огромные, с гербом посередине, стояли закрытые. Герб был такой: щит, на щите ворон с раскрытым клювом, держит в лапе книгу, а над всем этим корона. Бабушка, когда говорила про маркиза де Карабаса, имела в виду, видимо, как раз корону. За калиткой была будка охраны. В будке сидел молодой парень в черной куртке и пил чай из стакана в подстаканнике, что было удивительно и даже трогательно. На стекле будки был наклеен листок с телефонами, а рядом с листком висела иконка, маленькая, бумажная.

– Вы к кому? – спросил парень, приоткрыв окошко.

– К Вениамину Павловичу.

– А, – сказал парень и сразу как-то обмяк. – Вы Верещагина? Он говорил. Идите прямо по дорожке, там вас встретят. Только по газону не ходите, Платон Андреевич ругается.

Дорожка была из серого гранита, мокрая, блестящая, и вела к дому через лужайку, на которой, несмотря на октябрь, трава была зеленая и ровная, будто ее кто-то каждое утро причесывал. По краям лужайки стояли фонари, старинные или сделанные под старину, на чугунных столбах, и в некоторых уже горел свет, хотя было еще светло. За лужайкой начинался парк, темный, сосновый, и где-то в глубине между соснами Маша увидела маленький кирпичный домик с одним освещенным окном. Флигель, наверное. А справа, за домом, слышно было реку, она шумела по-осеннему, полноводно. И сам дом. Вблизи он оказался не таким огромным, как издалека, но гораздо мрачнее. Кирпич от дождя потемнел и стал почти бурым. Окна узкие, высокие, с переплетами, на первом этаже забраны решетками. Над входом каменный козырек на двух колоннах. Башня поднималась с левого угла, круглая, с маленькими окошками, расположенными по спирали, и Маша догадалась, что внутри башни лестница. На самом верху, на шпиле, сидел ворон. Отсюда, снизу, он казался уже не черной точкой, а настоящей птицей, большой, с растопыренными перьями. Дверь открылась прежде, чем Маша успела дотянуться до звонка.

– Мария Андреевна, – сказал Вениамин Павлович с облегчением, словно она пришла его спасать из горящего дома. – Слава богу. Проходите, проходите, вы промокли. Он был в том же костюме, что и утром, только без пальто и галош, а на ногах у него были тапочки, клетчатые, войлочные. Маша невольно посмотрела вниз, и адвокат тоже посмотрел вниз, и слегка покраснел.

– Носки Аглаи Петровны, – признался он шепотом. – Я их не снял. В них, знаете, удивительно тепло. Вы ей не говорите, пожалуйста.

– Не скажу, – пообещала Маша и почувствовала, что улыбается, впервые с самого утра.

Холл был большой, двухсветный, с полом из темного дуба, натертого так, что в нем отражались лампы. Пахло воском, и этот запах был такой густой и сладкий, что сразу вспомнилась церковь. Вдоль стен стояли шкафы со стеклянными дверцами, и в шкафах были книги, книги, книги, корешками наружу, тускло мерцающие золотым тиснением. Над камином, огромным, как въезд в гараж, висел портрет. С портрета смотрел бородатый мужчина в купеческом кафтане, с тяжелым подбородком и маленькими умными глазками. «Никифор, – догадалась Маша. – Прапрадед».

Из боковой двери вышла женщина и молча, без единого слова, забрала у Маши зонт. Ей было, наверное, за шестьдесят. Невысокая, плотная, в темно-синем шерстяном платье с белым воротничком, волосы седые, гладко зачесанные и собранные на затылке в тугой узел. Никакой

косметики, никаких украшений, только маленькие часики на кожаном ремешке. Лицо у нее было неподвижное и спокойное, как у монахини, и только глаза, светлые, серые, смотрели на Машу внимательно и долго, слишком долго для прислуги, которая забирает у гостьи зонт.

– Это Лидия Ивановна, – сказал адвокат. – Наша экономка. Лидия Ивановна, это Мария Андреевна Верещагина, соседка. Она к Платону Андреевичу по поводу геологических атласов. Помните, у Андрея Николаевича были атласы...

– Я помню, – сказала Лидия Ивановна. Голос у нее был низкий, без интонаций. – Чаю подать?

– Спасибо, не нужно, – сказала Маша и тут же пожалела, потому что это прозвучало резко. – То есть я бы с удовольствием, но я ненадолго. Экономка ничего не ответила. Повесила зонт на подставку у двери, раскрытым, чтобы просох, и ушла обратно в боковую дверь. По дороге, Маша это заметила, на секунду оглянулась.

– Она всегда такая, – тихо сказал адвокат. – Не обращайте внимания. Тридцать лет в доме, с самого первого дня. Платон Андреевич без нее шагу ступить не может, хотя ни за что в этом не признается. Пойдемте, он в кабинете. Через библиотеку. Они не успели сделать и трех шагов.

– Веня! Веня, где ты есть? По широкой лестнице, той, что поднималась из холла на галерею второго этажа, спускалась женщина. Спускалась она так, как спускаются по лестнице, наверное, только в кино: медленно, держась одной рукой за перила, а другой прижимая к уху телефон. Высокая, тонкая, со светлыми волосами, уложенными в небрежный узел, в бежевом брючном костюме из какой-то мягкой ткани, которая струилась при каждом движении. На ногах туфли на высоченном каблуке, и Маша подумала, как она вообще по этой лестнице ходит, дубовые ступени отполированы до зеркального блеска.

– Нет, вы меня не поняли, – говорила женщина в телефон голосом, в котором сквозь вежливость пробивалось что-то злое и испуганное. – Мне нужно до пятницы. До пятницы, понимаете? Я в субботу все закрою. Да. Да, всю сумму. Я вам обещаю. Хорошо. Хорошо, я жду. Она опустила телефон, постояла на нижней ступеньке, закрыв глаза, как будто у нее болела голова. Потом открыла глаза и увидела Машу.

– А это кто?

– Элеонора Сергеевна, это Мария Андреевна, соседка, – быстро сказал адвокат. – Внучка Аглаи Петровны Верещагиной, актрисы. Она к Платону Андреевичу...

– По поводу атласов, – закончила за него Маша, потому что адвокат, кажется, начал путаться.

– Каких еще атласов? – Элеонора посмотрела на нее сверху вниз, с нижней ступеньки, оценивающе, задержавшись взглядом на кардигане и на брезентовой сумке. – Господи. Опять бумажки. Он что, решил скупить весь поселок? Вблизи она оказалась старше, чем издалека. Лет тридцать, может быть, чуть больше. Очень красивая, той ухоженной, гладкой красотой, на которую тратится много времени и денег. Но под глазами у нее, под слоем тонального крема, Маша разглядела синеву, а ногти на руке, державшей телефон, были обкусаны по краям, и это совсем не вязалось ни с костюмом, ни с прической.

– Веня, мне нужно с тобой поговорить, – сказала Элеонора, отвернувшись от Маши, как от предмета мебели. – Сегодня. Это важно.

– Элеонора Сергеевна, я сегодня уезжаю в шесть, у меня процесс завтра в девять утра...

– Значит, до шести. – Она спустилась с последней ступеньки и прошла мимо них к двери. Только тут Маша заметила у стены несколько бумажных пакетов, плотных, глянцевых, с веревочными ручками и названиями, которые она видела разве что в журналах в очереди к стоматологу. Пакеты стояли нераспакованные, и один упал набок, из него торчала шелковая бумага.

– Я буду в оранжерее. Она ушла, и после нее в холле остался запах духов, тяжелый, сладкий, который сразу смешался с запахом воска и совсем не подходил к этому дому. Адвокат вздохнул.

– Пойдемте, – сказал он.

Библиотека начиналась сразу за холлом, за двустворчатой дверью с медными ручками, и когда Маша вошла туда, то остановилась на пороге и на какое-то время просто забыла, зачем пришла. Это была комната в два этажа. Вдоль стен от пола до потолка тянулись шкафы из темного, почти черного дерева, и на высоте человеческого роста шла галерея, узкий балкон с резными перилами. Наверх вела винтовая чугунная лестница, а по нижним шкафам двигалась на латунных полозьях лестница-стремянка. Под потолком висели три люстры, бронзовые, на цепях, но горели не они, а настольные лампы с зелеными стеклянными абажурами на длинных столах посередине. На столах лежали книги, раскрытые и закрытые, папки, коробки, листы бумаги с какими-то записями. Окна, высокие, стрельчатые, были наполовину закрыты тяжелыми шторами, и сквозь щели проникал серый дождевой свет. И запах. Маша этот запах узнала бы с закрытыми глазами, среди тысячи других. Старая бумага, кожа, пыль, немного клея, немного плесени, совсем чуть-чуть, в самом дальнем углу, и что-то еще сладковатое, похожее на ваниль, так пахнет лигнин в старых страницах, когда они начинают разрушаться. Запах библиотеки. Запах, который она любила больше всего на свете, больше, наверное, чем запах бабушкиных пирогов, хотя в этом она не призналась бы даже себе.

– Одиннадцать тысяч, – сказал за ее спиной адвокат. – Это только здесь. Еще есть хранилище в подвале, с климат-контролем. Там рукописи.

– Вениамин Павлович. Голос раздался откуда-то сверху. Маша подняла голову и увидела на галерее, у одного из шкафов, человека.

Он был худой и длинный, в темном жилете поверх белой рубашки. На рукавах у него были черные сатиновые нарукавники, какие Маша видела только на очень старых фотографиях бухгалтеров. В руках он держал книгу, маленькую, в мягком переплете, держал осторожно, двумя пальцами в белых перчатках, как держат птенца. Лицо у него было узкое, бледное, с аккуратной седой бородкой клинышком, и на носу сидели круглые очки в тонкой оправе.

– Вениамин Павлович, – повторил он, – я просил не водить в библиотеку посторонних до конца описи. Мы с вами это обсуждали.

– Аркадий Львович, это соседка. Мария Андреевна. Мы только пройдем в кабинет. Человек на галерее аккуратно поставил книгу на полку, выровнял ее по краю, отступил на шаг, посмотрел, снова выровнял. Потом начал спускаться по винтовой лестнице, неторопливо, держась за перила. Маша слышала, как под его ногами гудит чугун.

– Верещагина, – сказал он, спустившись и остановившись перед ней. Он был выше Маши на полголовы, а Маша была не маленькая. – Мария Верещагина. – Да. – Мы с вами встречались. – Это был не вопрос. Он смотрел на нее сквозь очки внимательно и без всякой улыбки, как смотрят на книгу, пытаясь определить год издания по шрифту. – Кривошеинские чтения. Ленинская библиотека. Вы задавали вопрос о проклейке картона в русских переплетах начала девятнадцатого века. Вопрос был неправильный, но интересный. Маша растерялась. Она действительно задавала вопрос. Она это помнила, потому что потом полдня краснела, вспоминая, как запиналась. Но этого человека она не помнила совершенно.

– Простите, я...

– Зимин, – сказал он. – Аркадий Львович. Хранитель этой библиотеки. Вы меня не помните, это естественно, я сидел в последнем ряду. Я всегда сижу в последнем ряду. – Он опустил глаза на ее руки, и Маша вдруг ощутила, что руки у нее в мелких порезах от скальпеля, что под ногтем на указательном пальце осталась полоска клейстера, которую она не отмыла. – Вы ведь по-прежнему работаете? Реставрируете?

– Немного, – сказала Маша. – Для частных заказчиков. Мелочи.

– Мелочи, – повторил Зимин без всякого выражения. Потом перевел взгляд на ее короб, серый, бескислотный, с завязками, который она держала под мышкой. Посмотрел на короб долго, секунды три, и Маша почувствовала, что краснеет, как тогда, на конференции.

– Для атласов коробка великовата, вам не кажется?

– Аркадий Львович, – быстро сказал адвокат, – Платон Андреевич ждет.

– Разумеется. – Зимин отступил в сторону, пропуская их, и чуть наклонил голову, вежливо и холодно. – Не смею задерживать. Мария Андреевна, я надеюсь, вы будете аккуратны. Платон Андреевич не любит, когда трогают его вещи. В последнее время особенно. И он снова пошел к лестнице, и снова загудел под его шагами чугун.

Маша шла за адвокатом через библиотеку, мимо столов с зелеными лампами, и чувствовала спиной взгляд с галереи. Обернулась один раз, у двери. Зимин стоял наверху, у того же шкафа, с той же книгой в руках, и смотрел не на нее, а в книгу. Но Маша почему-то была уверена, что секунду назад он смотрел на нее. «Он сидел в последнем ряду», – подумала она, и ей стало неуютно, хотя ничего неуютного в этих словах не было. Дверь в кабинет была в дальнем конце библиотеки, между двумя шкафами, и Маша сначала приняла ее за еще один шкаф, потому что она была такая же темная, резная, с медными накладками. Только ручка выдавала, большая, тяжелая, в форме птичьей головы. Под ручкой замочная скважина, а выше еще одна, поменьше. Адвокат постучал. Постучал два раза, коротко, потом один раз длинно, и Маша поняла, что это какой-то условный стук. Из-за двери ничего не ответили. Потом лязгнуло, повернулся ключ, и еще что-то стукнуло, металлически, глухо, словно отодвинули задвижку. Дверь открылась.

– Опоздали, – сказал Платон Андреевич Воронов. – На семь минут. Он стоял в дверях и загораживал весь проем.

Он был огромный. Не толстый, хотя живот у него был, а именно огромный, широкий в кости, высокий, с тяжелыми плечами и большой головой, на которой густо росли совершенно белые волосы, зачесанные назад. Брови у него, наоборот, остались черными, лохматыми, и под ними сидели маленькие темные глаза, точь-в-точь как у прапрадеда на портрете в холле. На нем была фланелевая рубашка в мелкую клетку и поверх нее вязаная кофта, старая, растянутая, с кожаными пуговицами. В руке он держал трубку, незажженную.

– Это я виноват, Платон Андреевич, – сказал адвокат. – Нас задержала Элеонора Сергеевна. А потом Аркадий Львович.

– Конечно, задержали. – Воронов отступил внутрь кабинета. – Здесь все всех задерживают. Входите. Веня, ты тоже. И закрой. Адвокат закрыл дверь, а Воронов подошел и сам повернул ключ в замке, два раза, а потом задвинул задвижку, тяжелую, латунную, с круглой ручкой. Маша слышала этот звук: скрежет и потом глухой стук, когда задвижка вошла в паз.

– Я теперь всегда закрываюсь, – сказал Воронов, не оборачиваясь, и в голосе его было что-то такое, отчего Маше захотелось посмотреть на адвоката. Адвокат смотрел в пол. – Садитесь, Мария Андреевна. Вон туда, к огню. Вы замерзли, у вас нос красный.

Кабинет был меньше библиотеки, но тоже большой. Квадратная комната с одним окном, высоким и узким, с решеткой снаружи и цветным витражом в верхней части. В витраже был тот же ворон с книгой. Вдоль стен шкафы, но не такие, как в библиотеке, а приземистые, по пояс, со стеклянными дверцами, и на шкафах лежали и стояли разные вещи: глобус, старый, пожелтевший, с полустертыми материками, бюст какого-то человека с бакенбардами, бронзовые часы, подсвечники, ящички, футляры. В углу горел камин, настоящий, с дровами, и от него шло тепло и сухой треск. Перед камином стояли два кожаных кресла, потертых до трещин. А в центре кабинета, на вытертом персидском ковре, стоял письменный стол, огромный,

как сам хозяин, с зеленым сукном, и на столе шахматная доска с расставленными фигурами, явно посреди партии. Пахло здесь воском, как и везде в доме, но к воску добавлялись старая кожа, дым от камина и табак. Хороший, сладкий трубочный табак с вишневой ноткой, запах которого въелся, кажется, в само дерево шкафов.

Маша вспомнила, что адвокат говорил про два инфаркта, и посмотрела на незажженную трубку в руке Воронова.

– Не курю, – сказал Воронов, перехватив ее взгляд. – Доктора запретили. Держу просто так. Когда держу, легче. – Он сел за стол и повертел трубку в пальцах. Пальцы были толстые, с плоскими ногтями, но двигались неожиданно ловко. – Вы на деда похожи. Очень. Тот тоже смотрел так, как будто вы ему что-то должны.

– Я так не смотрю, – сказала Маша.

– Смотрите. Он тоже говорил, что не смотрит. – Воронов хмыкнул и показал трубкой на кресло у огня. – Садитесь, я сказал.

Маша села. Кресло было глубокое и мягкое, и она в нем сразу утонула, а короб и сумку положила себе на колени. Адвокат остался стоять у двери, скромно, как бедный родственник. Какое-то время Воронов молча ее разглядывал. Маша терпела. В детстве у нее была учительница музыки, которая вот так же разглядывала учеников, перед тем как сказать что-нибудь обидное, и Маша с тех пор научилась под таким взглядом сидеть ровно и смотреть в ответ. Она смотрела на Воронова. Он был старый и, кажется, больной: лицо красноватое, с прожилками на щеках, и дышал он тяжело, с присвистом, хотя сидел неподвижно. Но в маленьких глазах под черными бровями не было ничего старого и больного. Они были живые, цепкие и насмешливые.

– Веня сказал, вы мне откажете, – сказал наконец Воронов.

– Вениамин Павлович сказал, что я могу отказаться, если посмотрю и пойму, что не справлюсь.

– А вы справитесь?

– Не знаю, – честно сказала Маша. – Я еще не видела книгу.

Воронов фыркнул. Потом встал, тяжело, опираясь обеими руками о стол, подошел к одному из низких шкафов, открыл стеклянную дверцу и достал оттуда книгу. Не ту, Маша сразу поняла, что не ту: маленькая, в коричневом кожаном переплете, с потертым корешком.

– Держите, – сказал он и протянул ей.

Маша не взяла. Открыла сумку, достала нитяные перчатки, надела, сначала левую, потом правую, расправила на пальцах. Только после этого взяла книгу у него из рук. Воронов следил за ней, и Маше показалось, что он чуть-чуть кивнул.

– Ну? – сказал он. – Что это?

Маша повертела книгу. Провела пальцами по корешку, по крышкам, по краям. Открыла, посмотрела на форзац, на титул, но титул прочитала не сразу, сначала смотрела на бумагу. Потом поднесла книгу к огню и посмотрела сквозь первый лист на свет.

– Французская, – сказала она. – Издание конца восемнадцатого века, где-то восьмидесятые. Бумага голландская, вержевая, с водяным знаком, вот, видите, кусочек герба. А переплет не родной. Переплет русский, позже, лет на тридцать-сорок. Телячья кожа, тиснение блинтом, без золота. Такие делали в Петербурге в двадцатые годы девятнадцатого века для небогатых домашних библиотек. – Она провела пальцем по нижнему краю корешка. – И его чинили. Недавно. Лет десять назад, не больше. Вот здесь подклеено, кожа подобрана по цвету, но клей другой. И нитки на каптале новые, хлопок, а не шелк. Хорошая работа, аккуратная, но не очень грамотная, на мой взгляд. Тот, кто чинил, торопился.

Воронов ничего не сказал. Он стоял у шкафа, сложив руки на животе, и смотрел на нее. Потом повернулся к адвокату.

– Ну? – сказал он ему. – Я тебе что говорил?

– Вы говорили, Платон Андреевич, – смиренно сказал адвокат.

– Я говорил. – Воронов забрал у Маши книгу, сунул ее обратно в шкаф, не глядя, как будто она больше не имела значения, и закрыл дверцу. – Эту книгу чинили в Москве, в мастерской, которой я платил за год больше, чем вы, наверное, зарабатываете за пять лет. Я их с тех пор не держу. Они мне сказали, что переплет родной. А вы посмотрели минуту и все увидели.

– Это не так сложно, – сказала Маша. – Там бумага и кожа разного возраста, это видно, если знать, куда смотреть.

– Если знать, – повторил Воронов. – Вот именно. Если знать.

Он вернулся за стол, сел и положил трубку на край шахматной доски, рядом с белым ферзем. Помолчал. Маша сняла перчатки и тоже молчала. В камине стрельнуло полено, и по ковру прыгнула маленькая искра, погасла.

– Ваш дед, – сказал Воронов, глядя на шахматы, а не на нее, – Андрей Николаевич. Мы с ним однажды играли. Вот здесь, на этой доске. Он тогда еще не продал... то есть я тогда еще не купил этот участок, и доска стояла у Ковригина. Мы играли три часа. Он у меня выиграл. Я тогда предложил ему за его атласы такие деньги, каких он в жизни не видел, а он отказал. Сказал, что атласы ему дороги не деньгами. Я тогда ему не поверил. Решил, что торгуется. – Воронов передвинул белого ферзя на одну клетку вперед и тут же вернул на место.

– Он не торговался. – Он никогда не торговался, – сказала Маша.

– Я знаю. Теперь знаю. – Воронов поднял глаза. – Я ему кое-чем обязан, вашему деду. Это старая история, и вам она ни к чему. Но я вас позвал не поэтому. Я вас позвал, потому что вы чужая.

– Простите?

– Вы чужая, – повторил он. – Вы не живете в этом доме, не работаете на меня, не наследуете ни копейки. Вам нечего у меня просить, и вы мне ничего не должны. И вы, судя по всему, знаете свое дело. А мне сейчас нужен как раз такой человек.

Маша посмотрела на адвоката. Адвокат все так же смотрел в пол.

– Вениамин Павлович сказал, что вам кажется, будто в доме что-то не так, – осторожно проговорила она.

– Мне не кажется. – Воронов сказал это спокойно, даже как-то устало. – В моем доме завелся вор. Стало тихо. Только камин трещал и где-то за стеной, далеко, гудел, кажется, пылесос.

– Что пропало? – спросила Маша.

– В том-то и дело, что ничего. – Воронов взял трубку и снова стал вертеть ее в пальцах. – Ничего не пропало. Я проверял. Аркадий проверял, и я после него проверял сам, по каталогу. Все на месте. Но вещи меняются. – Он посмотрел на нее, и Маша увидела, что он ждет, засмеется она или нет. Она не засмеялась.

– Книга стоит не там, где я ее поставил. Я ставлю всегда одинаково, по правому краю полки, корешок к корешку. А утром прихожу, и она стоит на палец глубже. Закладка не на той странице. Пресс-папье повернуто. На столе пепел, а я не курю, вы видели. И замок. – Он кивнул на дверь. – Ключ от кабинета у меня один. Второй был у Аркадия, я его забрал в сентябре, когда это началось. Тут же поменял замок. А через неделю опять. Книга не на месте.

– Может быть, вам... – Маша запнулась. – Показалось?

– Воронов усмехнулся. – Веня тоже так думает. И Элеонора. Элеонора думает, что я выжил из ума, и ждет не дождется, когда меня можно будет отправить в санаторий. А Антон, мой сын, думает, что я это все выдумал, чтобы не давать ему денег. – Он помолчал. – Вы его видели?

– Нет.

– Увидите. Он сегодня здесь. Опять пришел. Вчера мы с ним поругались, а сегодня он опять пришел, как ни в чем не бывало. – Воронов сжал трубку в кулаке так, что побелели

костяшки. – Ему нужны деньги на спектакль. Какой-то спектакль про какого-то человека, который сидит в шкафу три часа и разговаривает с вешалками. Я не дам. Я ему так и сказал вчера. Пусть сидит в шкафу сам. Он вдруг закашлялся, тяжело, со свистом, согнулся над столом. Адвокат шагнул к нему, но Воронов махнул рукой: не надо. Откашлялся, вытер губы платком, большим, белым, налил себе из графина на столе воды в стакан, выпил. Посидел, отдышался.

– Ладно, – сказал он. – Это все лирика. Давайте к делу.

Он встал, подошел к шкафу у камина. Шкаф был такой же низкий, по пояс, со стеклянными дверцами, только над ним на стене висела полка с книгами в одинаковых темно-красных переплетах, штук двадцать, с золотыми корешками. Воронов протянул руку к полке, нащупал там что-то, не глядя, и потянул на себя третий том слева. Том не вынулся. Он наклонился, как рычаг, и в стене что-то щелкнуло. И вся полка, вместе с двадцатью книгами, плавно, без единого звука, повернулась на невидимых петлях и отошла от стены, как дверца. Маша не сдержалась, ахнула. Воронов посмотрел на нее через плечо, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на мальчишеское удовольствие. – Карамзин, – сказал он. – «История государства Российского». Муляж. Внутри пусто. Это моя единственная слабость, Мария Андреевна, я люблю тайники. Еще с детства. Мой дед прятал от отца деньги в печке, а я прятал от деда конфеты в подполе. А теперь вот прячу от собственной семьи. Смешно, правда?

Маше смешно не было. За полкой в стене обнаружилась ниша, а в нише маленький стальной сейф, серый, с кодовым замком. Воронов загородил его спиной, и Маша услышала, как пищат кнопки: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом щелчок, и дверца сейфа открылась.

– Код знаю только я, – сказал Воронов, не оборачиваясь. – Даже Веня не знает. Я его меняю каждую неделю. Он постоял у сейфа, не трогая содержимого. Потом отошел в сторону и сказал: – Подойдите. Только не трогайте.

Маша встала, подошла. В сейфе, на двух полках, одна над другой, лежали две книги. Обе в переплетах темно-зеленой кожи, такой темной, что в свете от камина она казалась почти черной, и только где на нее падал прямой свет, вспыхивала глубокой бутылочной зеленью. Кожа была зернистая, с мелким-мелким рисунком, будто ее посыпали песком и вдавили. Шагрень. Настоящая, восточная, Маша такую видела до этого, может быть, раза три в жизни, и все три раза за музейным стеклом. На крышках рамка из тисненого золотого орнамента, в углах розетки, а в центре клеймо, маленькое, овальное.

Две книги были одинаковые. Почти. Та, что лежала внизу, была толще и больше, похожа на амбарную, с широким корешком, на котором кожа потрескалась вдоль. Верхняя была тоньше и меньше, в лист, и выглядела новее, хотя Маша понимала, что они должны быть одного возраста.

– Нижняя – хроника, – сказал Воронов. – Ее вы заберете. А верхняя... – Он помолчал. – Верхняя ее сестра. Маша повернулась к нему. – Сестру не трогать, – сказал Воронов.

Она вздрогнула так, что задела локтем край полки-дверцы, и Карамзин качнулся на петлях.

– Что с вами? – Воронов нахмурился.

– Ничего. – Маша отступила на шаг, чувствуя, что в кармане брюк лежит сложенный договор с карандашной припиской. Почерк был не его, совершенно точно. Мелкий, с левым наклоном, а Воронов, она видела подпись, писал размашисто. Но слова были его. Те же самые слова.

– Простите, я просто... Это так говорят? Сестру не трогать?

– Я так говорю, – пожал плечами Воронов. – Всегда говорю. Веня, скажи.

– Платон Андреевич всегда так говорит, – подтвердил адвокат от двери. – Все в доме знают. Это вроде поговорки. Все в доме знают.

Маша медленно кивнула. Подумала, что надо бы, наверное, достать договор и показать. Прямо сейчас. Но что-то ее удержало, она и сама не поняла что. Может быть, то, как Воронов сказал «все в доме». Может быть, взгляд Зимина с галереи.

– А что в ней? – спросила она, кивнув на верхнюю книгу. – В сестре?

Воронов долго не отвечал. Потом подошел, встал рядом с ней, совсем близко, и Маша почувствовала запах табака от его кофты и еще какой-то лекарственный, сердечный, похожий на запах валокордина у Зои Серафимовны.

– Стихи, – сказал он тихо. – Альбом. Купеческий альбом, домашний, в него гости вписывали стихи и пожелания. Мой прапрадед Никифор держал его для дочери. В тысяча восемьсот тридцать третьем году в доме у Никифора был обед, и на этом обеде, – он сделал паузу, как бабушка перед важной репликой, – был Пушкин. Проездом, по пути в Оренбург. Его привел кто-то из московских знакомых. И Пушкин вписал в альбом восемь строк. Своей рукой. Подписал. Поставил дату.

Маша молчала. Она не знала, что сказать. Она смотрела на тонкую книгу в темно-зеленой шагрени на верхней полке сейфа и думала, что стоит, наверное, в метре от вещи, которую держал в руках Пушкин.

– Об этом альбоме никто не знал, – сказал Воронов. – Он был в семье. У моего деда, у отца. Отец прятал его в войну, закопал в саду под яблоней в Перловке. Я выкопал, когда мне было тринадцать лет. Отец меня тогда выпорол. А потом показал.

Он помолчал. – В субботу его увидит комиссия. Впервые за сто девяносто лет его увидит кто-то, кроме Вороновых. Они должны подтвердить подлинность, внести в каталог. Продавать я его не буду. Но я хочу, чтобы все знали, что он есть. Что он у меня.

– А хронику зачем показывать? – спросила Маша.

– Потому что в хронике записан тот обед. – Воронов наконец наклонился и, не касаясь верхней книги, вытащил из сейфа нижнюю. Голыми руками, Маша поморщилась, но промолчала. – Никифор записал, кто был, что ели, что пили, о чем говорили. И как гость вписал стихи в альбом дочери. Это доказательство. Без хроники альбом просто альбом. С хроникой это история. Он протянул книгу ей.

Маша торопливо надела перчатки и взяла. Книга была тяжелая, тяжелее, чем казалась. Килограмма два, наверное, с лишним. Кожа под пальцами, даже через нитяные перчатки, была теплая, сухая и шершавая, как кошачий язык. Корешок, она сразу увидела, треснул вдоль, по сгибу, и в трещине виднелась светлая подкладка. Верхний угол передней крышки был стерт до картона. На задней крышке были пятна, темные, неровные, как будто когда-то давно на книгу пролили воду или что-то похуже.

Она отнесла ее к столу, к зеленой лампе, и положила на сукно, рядом с шахматами. Подложила под крышку край своего короба, чтобы не открывать книгу больше, чем нужно. Открыла. Форзац был мраморный, сине-красный, «павлиний глаз», как такой называли переплетчики. Немного выцвел, но рисунок был виден хорошо. А под форзацем, на первом листе, рыжими старыми чернилами, крупным округлым почерком с завитушками было написано: «Книга сия, в коей записывать мне, купцу второй гильдии Никифору Воронову, все дела дома моего, рождения и кончины, приходы и расходы, и что Бог пошлет. Начата в лето 1826, месяца генваря, 6 дня». Маша прочитала это и почувствовала, что у нее пересохло во рту.

– Ну? – спросил Воронов за ее спиной. – Сделаете за три дня?

Маша не ответила сразу. Медленно перевернула несколько листов, осторожно, за самый уголок. Бумага была плотная, тряпичная, желтоватая, с крупными водяными знаками. Чер-

нила местами выцвели до бледно-коричневого, местами, наоборот, проели бумагу насквозь, и на месте букв зияли маленькие кружевные дырочки. Тетради держались в целом неплохо, но последние она еще не смотрела. Что-то ей не понравилось. Она не могла сказать что. Просто кончики пальцев, которые всегда знали больше головы, вдруг стали покалывать, как бывает, когда трогаешь что-то не то.

– Платон Андреевич, – сказала она, не оборачиваясь. – Кто-нибудь брал ее в руки в последнее время? Кроме вас?

– Нет. – Ответ был быстрый, без раздумий. – С сентября никто. До сентября Аркадий. Он ее описывал для каталога. А почему вы спрашиваете?

– Не знаю, – честно сказала Маша. – Пока не знаю. Мне нужно посмотреть дома, под нормальным светом, с лупой.

– Посмотрите, – сказал Воронов. И вдруг добавил совсем другим тоном, тихим, без насмешки: – Посмотрите внимательно, Мария Андреевна. Вы увидите то, чего я не вижу. У меня глаза уже не те.

Маша обернулась. Он стоял у открытого сейфа, огромный, седой, и смотрел на нее, и в его маленьких глазах было то, что она утром видела у адвоката, только сильнее. Он боялся. Маша вдруг поняла это так ясно, как будто он сказал это вслух.

– Хорошо, – сказала она. – Я сделаю. За три дня. Грим, как сказал Вениамин Павлович. Но я сначала посмотрю, что там внутри. Если там что-то серьезное, я вам позвоню.

– Звоните. В любое время. – Воронов закрыл сейф, повернул кодовый замок, нажал на Карамзина, и полка с тихим щелчком встала на место. Ничего не было видно. Двадцать темно-красных томов с золотыми корешками стояли ровно, как солдаты в строю. – Веня даст вам номер. Мой личный. Его знает человек пять.

Из-за двери раздался стук. Обычный, не условный. Три раза. Воронов поморщился.

– Кто? – рявкнул он.

– Платон Андреевич, это Лидия. Ужин в семь. Подавать на всех?

– Подавай на всех, – сказал Воронов. – Я не выйду. Принеси мне сюда, как всегда. Чай и бутерброды. И таблетки.

– Хорошо. Шаги за дверью удалились. Воронов постоял, глядя на дверь, потом вздохнул и сел в кресло у камина, то самое, где сидела Маша. Сел тяжело, со стоном, и вытянул ноги к огню.

– Вот так и живу, – сказал он. – Как в крепости. Мой дом, моя библиотека, мои книги, а я ужинаю в кабинете, запершись на задвижку. Потому что не хочу видеть ни жену, ни сына, ни хранителя. – Он посмотрел на нее снизу вверх. – Хотите коньяку? У меня хороший. Армянский, двадцатилетний. Доктора запрещают, но я им не говорю.

– Нет, спасибо.

– Веня вас напугал, – сказал Воронов и вдруг засмеялся, коротко, хрипло. – Сказал, чтобы вы тут ничего не ели и не пили. Сказал ведь? По глазам вижу, что сказал. Правильно сказал. Я бы на вашем месте тоже не пил.

Маша не знала, что ответить. Адвокат у двери стал совсем красный.

– Ладно. – Воронов махнул рукой. – Идите. Веня, проводи ее, а потом возвращайся, нам надо поговорить про субботу. Мария Андреевна. – Он помолчал. – Спасибо, что пришли. Деду вашему я так и не сказал спасибо. А надо было.

Адвокат проводил ее не до двери, а только до библиотеки, потому что в библиотеке их ждали. Сначала Маша увидела только темную фигуру у окна, на фоне шторы. Человек стоял и курил, выпуская дым в приоткрытую форточку. Потом он обернулся, и она его разглядела. Ему было лет тридцать пять. Невысокий, худой, в черной кожаной куртке поверх черного свитера

с горлом, в черных джинсах, весь в черном, как гробовщик или как режиссер, который хочет, чтобы его принимали всерьез. Темные волосы до плеч, немытые. Небритый, давно, дня три. Лицо узкое, нервное, с крупным носом, и Маша сразу поняла, что это сын, хотя на отца он был совсем не похож. Похож он был, наверное, на мать. Но брови были отцовские, черные и густые.

– Антон Платонович, – сказал адвокат. – Здесь нельзя курить. Аркадий Львович...

– Аркадий Львович может засунуть свои правила, – сказал Антон и затянулся еще раз. – Знаешь куда, Веня? Знаешь. – Он выдохнул дым в форточку и посмотрел на Машу. – А вы кто? Тоже пришли что-нибудь у него просить? Встаньте в очередь. Я первый.

– Я соседка, – сказала Маша.

– Соседка, – повторил Антон. – По поводу атласов. Знаю, знаю, Эля рассказала. – Он усмехнулся. Улыбка у него вышла кривая, злая и при этом какая-то детская, обиженная, как будто он сам не знал, плакать ему или смеяться. – Знаете, сколько стоит одна книжка из этой комнаты? Вот одна, вот хоть эта. – Он ткнул пальцем в ближайший шкаф. – На нее можно поставить спектакль. Хороший, честный спектакль, с декорациями, с костюмами, с нормальной сценой. А он сидит на них, как собака на сене. Сидит и сторожит. И сам не читает, и другим не дает.

– Антон Платонович, – снова сказал адвокат.

– Что? Что «Антон Платонович»? Я что-то не то сказал? Я неправду сказал? – Он швырнул окурок в форточку и захлопнул ее с таким грохотом, что Маша вздрогнула. – Он у себя?

– У себя. Но он сейчас никого...

– Меня он примет, – сказал Антон и пошел через библиотеку к двери кабинета, быстро, почти бегом, мимо Маши, обдав ее запахом табака и мокрой кожи. Он постучал в дверь кабинета кулаком. Три раза, громко. – Папа! Открой. Нам надо поговорить. Тишина. – Папа, я знаю, что ты там. Открой. Я не уйду. Из-за двери донесся голос Воронова, глухой, но отчетливый:

– Уходи, Антон. Я тебе вчера все сказал.

– Ты мне вчера ничего не сказал! Ты мне вчера опять, как всегда...

– Уходи.

Антон постоял у двери, прижав к ней кулак. Плечи у него вздрагивали. Потом он резко развернулся и пошел обратно, мимо Маши и адвоката, не глядя на них. У двери в холл он остановился.

– Знаете, что самое смешное? – сказал он, не оборачиваясь. – Он даже на маминых похоронах не был. Не был! А теперь сидит там и трясется над своими бумажками. И боится, что их кто-то украдет. Да кому они нужны.

Хлопнула дверь в холл. Потом, через несколько секунд, еще одна, тяжелая, входная. Маша посмотрела на адвоката. Адвокат снял очки и долго протирал их своим клетчатым платком.

– Простите, – сказал он. – Простите, Мария Андреевна. Это семейное.

– Ничего, – сказала Маша.

Она посмотрела наверх, на галерею. Там никого не было. Шкафы, перила, корешки книг. Лампа у дальнего шкафа, та, у которой стоял Зимин, теперь не горела.

– Он ушел, – сказал адвокат, проследив за ее взглядом. – Аркадий Львович. Он всегда в шесть уходит к себе во флигель, ужинает. Он живет там, во флигеле, при доме. Уже лет двадцать.

«А зачем ему знать про коробку для атласов», – подумала Маша, но вслух ничего не сказала. Часы в холле, большие, напольные, в деревянном футляре, пробили один раз, коротко. Маша посмотрела на свои: было половина седьмого. Она пробыла в кабинете почти два часа и не заметила.

– Мне нужно вернуться к Платону Андреевичу, – сказал адвокат. – Потом я уезжаю в Москву, у меня завтра процесс. Вы найдете дорогу? Лидия Ивановна вас проводит. Вот номер

Платона Андреевича. – Он протянул ей визитку, на обороте которой от руки, ровным бисерным почерком, был написан телефон.

Маша посмотрела на почерк: прямой, никакого наклона.

– И мой. Звоните, если что-нибудь.

– Хорошо.

– И, Мария Андреевна. – Адвокат замялся. – Платон Андреевич просил передать. Он хотел сам, но... В общем, он просил вас сегодня вечером не открывать книгу без него. То есть открывать, конечно, вы же должны работать. Но если вы что-то найдете, что-то странное, позвоните ему сначала. Не мне. Ему.

– Что странное?

– Он не сказал. Адвокат ушел обратно в кабинет.

Маша слышала, как он стучит условным стуком, как поворачивается ключ, как лязгает задвижка. Потом дверь закрылась, и снова лязгнула задвижка, и снова повернулся ключ, два раза. Она осталась в библиотеке одна. Зеленые лампы горели на столах. За окнами было уже почти совсем темно, в стрельчатых стеклах отражались огоньки ламп и ее собственная фигура, высокая, в длинном кардигане, с коробкой в руках. Где-то тикали часы. Маша стояла и слушала тишину, и ей казалось, что тишина эта живая. Одиннадцать тысяч книг вокруг. Одиннадцать тысяч историй. И все молчат. Потом она надела перчатки, открыла свой серый короб, положила туда хронику, которую все это время держала, завернутую в мягкую белую бязь, на отдельной подложке из картона. Закрыла короб, завязала тесемки. Сняла перчатки. Взяла сумку. В холле ее ждала Лидия Ивановна. Ждала, видимо, давно, потому что стояла у двери с ее зонтом в руках, уже сложенным. Маша не слышала, как она подошла.

– Спасибо, – сказала Маша, беря зонт.

Экономка ничего не ответила. Она смотрела на коробку под Машиной рукой. Смотрела так же долго и внимательно, как раньше на саму Машу.

– Вы на деда похожи, – сказала она вдруг. – На Андрея Николаевича.

– Мне сегодня это уже говорили.

– Он хороший был человек, – сказала Лидия Ивановна, все еще глядя на коробку. – Хороших людей мало. – И, совсем без перехода, тем же ровным голосом: – На дорожке осторожнее. Там у ворот плитка скользкая. Платон Андреевич велел перекладывать, а никто не перекладывает. Она открыла дверь.

Пахнуло холодом, мокрой травой и рекой. Маша вышла на крыльцо, раскрыла зонт и пошла по гранитной дорожке. Фонари вдоль лужайки горели теперь все, желтым теплым светом, и в этом свете было видно, как в воздухе висит морось, мелкая, как пыль. Сосны в парке стояли черные. Окно во флигеле светилось. Маша, проходя, посмотрела туда и, может быть, ей показалось, но за стеклом мелькнула тень, высокая и худая, и тут же пропала. Плитка у ворот и правда была скользкая. Маша чуть не упала, прижала коробку к груди обеими руками, выронила зонт. Подняла.

Охранник в будке помахал ей рукой. Подстаканник стоял на подоконнике пустой. За калиткой, на обочине, стояла маленькая красная машина. Двигатель не работал, фары не горели. Внутри, Маша разглядела в свете фонаря над воротами, сидел человек в кожаной куртке, откинувшись на спинку сиденья. Курил. Кончик сигареты вспыхивал и гас. Он смотрел на нее сквозь мокрое стекло, не отрываясь. Пока она проходила мимо и пока шла по улице к повороту, и Маша не оглядывалась, но всей спиной чувствовала этот взгляд. На повороте она все-таки обернулась. Красная машина стояла на месте, темная. Дом за оградой светился узкими окнами, а над всем этим на шпиле башни, черный на черном небе, сидел ворон, и его уже совсем не было видно, только угадывалось, где он. Таксы у дома Беловых даже не вылезли из-под крыльца. Лужа у участка Лебедева в темноте казалась бездонной, и Маша перешла ее по

кирпичам на ощупь, считая шаги: семь. Как в детстве. Было без пяти семь, когда она открыла калитку. На веранде горел свет. Пахло жареным луком так, что было слышно даже с улицы.

Глава 3

– Ты не ела, – сказала бабушка вместо «здравствуй».

– Не ела.

– И не пила.

– И не пила.

– Умница. – Бабушка забрала у нее зонт, отряхнула его о перила крыльца и поставила в угол сохнуть. – Мой руки и за стол. Котлеты через десять минут. Маша прошла через веранду, мимо стола, на котором уже стояли тарелки, мимо Фунтика, спавшего в кресле, мимо самовара, мимо тазика с антоновкой.

В мастерскую она пошла, не снимая кардигана. Включила свет, большую лампу над столом и еще одну, бестеневую, на кронштейне. Положила короб на стол, рядом с требником, накрытым стеклом. Постояла. Ей очень хотелось развязать тесемки прямо сейчас. Руки, кажется, сами тянулись. Но она знала, что если начнет сейчас, то не остановится до утра, а бабушка обидится, и котлеты остынут, и Марик приедет и съест все один, и вообще, сказала она себе строго, хронике двести лет, она подождет еще час.

Маша прикрыла короб чистым листом крафта и пошла мыть руки. На кухне шипело и трещало. Бабушка стояла у плиты в своем старом клетчатом фартуке, том, что с прожженной дыркой у кармана, и переворачивала котлеты на огромной чугунной сковородке. Котлеты были толстые, круглые, с золотисто-коричневой корочкой, и масло вокруг них пузырилось и стреляло. На соседней конфорке в кастрюле под крышкой стояла картошка, а рядом, в миске, ждало пюре, еще не размятое. На столе в стеклянной банке краснела квашеная капуста с клюквой, и в блюдце рядом с ней, уже выложенные, лежали рыжики Зои Серафимовны, политые маслом и пересыпанные тонкими кольцами лука. Маша взяла один рыжик пальцами и отправила в рот. Он был холодный, хрусткий, солоноватый, и пах лесом и смородиновым листом.

– Руки, – сказала бабушка, не оборачиваясь.

– Я помыла.

– Помыла и сразу в рыжики. Ну, рассказывай. Маша села на табуретку у окна. За окном было черно, только в стекле отражалась кухня: желтая лампа под матерчатым абажуром, бабушкина спина, пар от кастрюли.

– Я не могу, ба. Я дала слово.

– Ты дала слово при мне. Я все слышала. Значит, мне можно.

– Это не так работает.

– Это так работает, – уверенно сказала бабушка, снимая котлеты со сковородки на блюдо и выкладывая на их место новые, сырые, уже обваленные в сухарях. – Я твоя бабушка. Я все равно узнаю. Ты будешь молчать два дня, ходить с таким лицом, как будто у тебя болит зуб, а на третий день не выдержишь и расскажешь. Так лучше сразу. Это экономит время и нервы. Маша вздохнула.

– Я видела жену, – сказала она. – Сына. И хранителя библиотеки. И экономку.

– Ну и как жена?

– Красивая. Нервная. Ногти обкусаны. По телефону говорила с кем-то, что ей нужно до пятницы, что она в субботу все закроет.

– Долги, – сразу сказала бабушка. – Ногти обкусаны и до пятницы, значит, долги. Я такое видела у нас в театре, у Ниночки Савиной, когда она проигралась на скачках в восемьдесят первом году. Ты не помнишь, тебя еще не было. А сын?

– Злой. Несчастный. Кричал под дверью кабинета, что отец не был на похоронах матери.

– Не был, – подтвердила бабушка. – Это все знают. Наталья Николаевна умирала в хосписе, а он в это время в Лондоне покупал какие-то письма. Антон потом говорил, что нико-

гда ему этого не простит. Мне это Зоя рассказывала, а Зое кто-то из ее знакомых. – Бабушка размяла картошку толкушкой, добавила туда масла, большой кусок, потом горячего молока из ковшика, снова размяла.

– А хранитель? Маша помолчала. – Он меня помнит, – сказала она. – С какой-то конференции, больше десяти лет назад. А я его совсем не помню. Он сказал, что всегда сидит в последнем ряду.

Бабушка перестала мять картошку и обернулась.

– И что тебе в этом не понравилось?

– Не знаю, – честно сказала Маша. – Ничего. Все. Он смотрел на мою коробку и сказал, что для атласов она великовата.

– Ну, так это правда, – сказала бабушка. – Атласы у твоего деда лежат на чердаке в обычном чемодане. Для них коробка не нужна. Он просто умный, этот хранитель.

– Вот это мне и не понравилось. Бабушка посмотрела на нее внимательно, потом кивнула, как будто Маша сказала что-то важное, и снова отвернулась к плите.

– А сам? – спросила она уже тише. – Платон?

Маша не сразу ответила. Она вспомнила огромного седого человека в растянутой вязаной кофте, с незажженной трубкой в руке, который запирает дверь на задвижку и прячет книги за муляжом Карамзина.

– Он боится, ба, – сказала она. – Он правда боится. Он говорит, у него в доме вор. Что ничего не пропадает, но вещи меняются местами.

Бабушка ничего не сказала. Она выключила огонь под сковородкой, сняла последние котлеты. Помолчала.

– Он говорил про деда, – сказала Маша. – Что он ему чем-то обязан. Что так и не сказал спасибо.

– Обязан, – тихо повторила бабушка. Потом взяла блюдо с котлетами, поставила на стол, накрыла крышкой от кастрюли, чтобы не остыли. Вытерла руки о фартук. – Ну, раз сказал, значит, обязан. Садись, будем ждать Марика. Он звонил, сказал, задерживается, у него электричка встала под Дедовском.

– На машине же собирался.

– Машина у него опять сломалась. Или он ее продал. Или проиграл. Я уже не спрашиваю. – Бабушка села напротив, положила руки на стол, и Маша опять увидела, как она устала.

– Маша. А дед, когда вы говорили, Платон не сказал, чем именно ему обязан?

– Сказал, что это старая история и мне ни к чему.

– Ну и правильно сказал, – сказала бабушка и вдруг встала, засуетилась. – Ой, а хлеб-то я не нарезала. И чай. Ты будешь чай или морс? Я брусничный морс сварила.

Маша смотрела, как бабушка режет черный хлеб, толстыми ломтями, прижимая буханку к груди, по-деревенски, как резала ее мать. И думала, что старая история, которая ей ни к чему, у бабушки, кажется, тоже есть. Своя.

Марик приехал без двадцати девять, мокрый насквозь, с рюкзаком за спиной, с ноутбуком под мышкой и пластиковым чемоданчиком в руке, в каких обычно носят дрели.

– Электричка, – сказал он с порога, стаскивая кроссовки, из которых лилась вода. – Сорок минут в поле стояла. Сорок! Там какой-то провод оборвался, что ли. А я голодный, как не знаю кто. Ба, это котлеты? Это котлеты, я по запаху чую. Маш, привет. Ты чего такая нарядная?

Маша посмотрела на себя. Она так и не сняла кардиган и водолазку, и черепаховая заколка все еще торчала в косе.

– Ходила в гости, – сказала она.

– К кому это? – Марик уже сидел за столом и тянулся к блюду с котлетами, прямо руками, мокрыми, и бабушка шлепнула его по пальцам полотенцем. – Ай! Ба!

– Вилкой. И руки сначала помой. И переоденься, ты мокрый, как утопленник. Твои вещи в шкафу в маленькой комнате, я их постирала с прошлого раза.

– Ба, ну пять минут...

– Иди.

Марик, ворча, ушел. Он был худой, длинный, в мокрой толстовке с капюшоном, которая была ему велика на три размера, с рыжеватыми, в мать, вихрами, которые никогда не лежали, и с вечно сонными глазами за очками в толстой черной оправе. Ему было двадцать шесть, но выглядел он то на восемнадцать, то на сорок, в зависимости от того, сколько ночей подряд просидел за компьютером. Сегодня, судя по синякам под глазами, выглядел на тридцать пять. Он работал программистом. Где и кем именно, Маша так до конца и не поняла. Он менял работу раз в полгода, то писал какие-то программы для банка, то делал игры, то, как он сам выражался, «консультировал одних ребят по безопасности». Деньги у него появлялись внезапно, большие, и так же внезапно исчезали. На что, Маша тоже не знала. Подозревала, что на квадрокоптеры.

Квадрокоптеры были его главной страстью с пятнадцати лет. Сначала маленькие, игрушечные, которые он разбивал о деревья в саду. Потом побольше, с камерами. Потом совсем большие, с какими-то специальными объективами и датчиками, и каждый стоил, как Маше казалось, больше, чем вся ее мастерская. Он собирал их сам, переделывал, писал для них программы, и однажды один из них, улетев куда-то за реку, вернулся с фотографиями голой дамы, загоравшей на крыше соседней дачи. Скандал был на весь поселок.

Зоя Серафимовна потом три месяца рассказывала эту историю всем, кто соглашался слушать, и каждый раз дама становилась моложе, а крыша выше.

Марик вернулся через пять минут в сухой футболке и старых спортивных штанах, сел за стол и положил себе четыре котлеты.

– Марик, – сказала бабушка.

– Ба, я с утра не ел. Честное слово. Вообще ничего, кофе только.

– Ешь, ешь, – сказала бабушка, и голос у нее стал совсем мягкий. – Пюре положи. И капусту. Тебе нужна клетчатка, ты зеленый, как огурец.

Марик ел быстро, жадно, по-мальчишески, и бабушка смотрела на него, подперев щеку рукой, точно так же, как днем смотрела на адвоката. А Маша смотрела на них обоих и думала, что никогда, наверное, не сможет сердиться на брата по-настоящему. Даже из-за долга, даже из-за квадрокоптеров и голой дамы на крыше.

Он был младше ее на восемь лет. Когда родители разбились, ему было одиннадцать, а ей девятнадцать, и это она тогда водила его в школу и на кружки, проверяла уроки и сидела рядом ночами, когда он плакал. Бабушка в тот год словно окаменела. Очнулась только через полгода, когда Марик заболел ветрянкой.

– А в гости-то к кому? – спросил Марик с набитым ртом, уже на третьей котлете.

– К соседу, – сказала Маша.

– К какому?

– К Воронову.

Марик перестал жевать. – К маркизу? – Он посмотрел на нее, потом на бабушку. – Серьезно? Зачем?

– По работе.

– Ого. – Марик проглотил котлету, запил брусничным морсом. – Ого. Маш, это же круто. У него, говорят, библиотека, как в Ватикане. А ты там была? Внутри? А башню видела? Там правда лестница внутри башни? Я все хотел посмотреть, как там внутри устроено. – Видела снаружи, – сказала Маша. – Марик, это заказ. Конфиденциальный. Я не могу рассказывать.

– Ладно, ладно. – Марик поднял руки. – Молчу. Как рыба. Но вообще, Маш, я его башню знаю лучше, чем он сам, наверное. Я ее столько раз снимал. Маша медленно опустила вилку.

– В каком смысле снимал?

– В прямом. – Марик пожал плечами и потянулся за четвертой котлетой. – С коптера. Она же самая высокая точка в поселке. Над рекой, над соснами. Красиво получается, особенно на рассвете, когда туман. Я тебе покажу. Я как раз новую камеру поставил, с тепловизором. Это вообще бомба, Маш. Ночью видно все. Кошки, ежи, люди. Как днем, только в цвете. Ну, в смысле, в тепловых цветах.

– Марик, – сказала Маша, и голос у нее стал такой, каким она в детстве говорила ему «немедленно слезь с забора». – Ты летал над домом Воронова?

– Ну, не прямо над домом. – Марик неуверенно посмотрел на нее. – Рядом. Над рекой. Над соснами. Ну и над домом немного, да. А что? Там же не запрещено. Ну то есть, может, и запрещено, но кто проверяет? Маш, это же просто картинки. Красивые.

– Покажи, – сказала Маша.

Марик обрадовался. Он всегда радовался, когда кто-то интересовался его коптерами, а интересовались ими редко. Бабушка говорила, что эти летающие штуки шумят, как пылесосы, и пугают ее кур, хотя кур у них не было лет двадцать. А Маша говорила, что они опасны, и что он когда-нибудь уронит свою бандуру кому-нибудь на голову.

Он отодвинул тарелку, вытер руки о штаны (бабушка закатила глаза) и раскрыл ноутбук прямо на столе, между банкой с капустой и самоваром. Ноутбук был старый, тяжелый, весь обклеенный наклейками: какие-то коты, какие-то надписи по-английски, логотипы, которые Маше ничего не говорили. Экран засветился. Марик постучал по клавишам, открыл какую-то папку, потом еще одну, потом запустил видео.

– Вот, – сказал он. – Это понедельник. В понедельник ночью было ясно, звезды, я поднялся на двести метров. Смотри. На экране была ночь. Не черная, а темно-синяя, с серебристыми пятнами. Внизу лежал поселок, крыши, деревья, дороги, все видно четко, будто нарисованное. Камера медленно плыла над крышами. Маша узнала их дом: веранда, мастерская, яблони в саду, вот сарай, вот забор. Вот теплица Зои Серафимовны, мутная, белесая. Вот главная улица, станция, фонарь у станции, огромный и слепящий на экране. – А теперь переключаю, – сказал Марик и нажал что-то. Картинка вдруг изменилась. Стало все черно-фиолетовое, а местами, кое-где, вспыхнули желтые, оранжевые, красные пятна. – Тепловизор. Видишь? Вот наш дом. Вот печка, видишь, крыша светится? Вот это, оранжевое, это ба в своей комнате, наверное. Ба, ты в понедельник в двенадцать ночи не спала?

– Я читала, – с достоинством сказала бабушка. Она подошла и встала у Марика за спиной, тоже глядя в экран. – Боже мой. Это что, я?

– Ты. Вот, лежишь. А вот это, на подоконнике, видишь, такой комочек? Это Фунтик.

– Боже мой, – повторила бабушка. – Марик, это же ужасно. Ты можешь видеть людей через крышу?

– Не через крышу, ба. Через крышу не видно, ну, почти. Тепло видно. Если крыша плохо утеплена, тепло видно. У нас крыша плохо утеплена. – Марик засмеялся. – У нас, ба, вообще вся дача светится, как новогодняя елка. Мы отапливаем улицу.

– Это я тебе и без всякого коптера скажу, – вздохнула бабушка.

Камера плыла дальше. Вот роща. Вот Лебедевский участок, темный, холодный, там никто не живет. Вот река, широкая черная полоса. Вот сосны, а за соснами...

– А вот и замок, – сказал Марик с гордостью. – Красота, правда? Маша смотрела на экран.

Дом Воронова сверху, в тепловизоре, был похож на огромного темного зверя, лежащего на берегу реки. Кое-где на нем светились пятна: окна, трубы, вентиляция. Башня была холод-

ная, почти черная. А вот в одном месте, в правой части дома, на первом этаже, горело большое ярко-оранжевое пятно.

– А это что? – спросила Маша.

– Это камин, наверное, – сказал Марик. – Или котельная. Что-то горячее. Это был кабинет.

Маша это поняла, сопоставив с тем, что видела днем. Кабинет и камин.

– А вот это? – Она ткнула пальцем в экран, в маленькое пятнышко у края парка, в соснах, желтое, тусклое.

– Флигель какой-то. Там, кажется, кто-то живет. Свет всегда горит.

Маша промолчала. Камера сделала круг над домом, медленно, плавно, потом поднялась выше, и дом стал маленьким, а поселок большим, и вдалеке показались огни шоссе.

– Ну как? – спросил Марик. – Скажи, круто?

– Марик, – сказала Маша. – Пообещай мне, что ты больше не будешь там летать.

– Почему? – Марик удивленно посмотрел на нее. – Маш, ну что тут такого? Ну, полетал. Никто же не видел.

– Там камеры, Марик. На заборе, по всему периметру. Я сегодня видела.

– Ну, камеры, – отмахнулся Марик. – Камеры на земле, а я в небе. Да и кто там будет смотреть записи с камер? Охранник с чаем? Маш, ну правда. – Он закрыл видео и стал открывать другую папку. – Слушай, я вообще-то тебе хотел показать кое-что другое. Сегодня ночью я хочу полететь в туман. Дождь кончится к полуночи, я смотрел прогноз, и над рекой будет туман. Если подняться над туманом и снять, как башня торчит из него... Это будет вообще бомба. Я это на конкурс хочу отправить. Там призовой фонд...

– Нет, – сказала Маша.

– Маш...

– Нет, Марик. Я тебя прошу. Не сегодня. Не над этим домом. Марик смотрел на нее, и в его сонных глазах за толстыми очками появилось что-то настороженное.

– Маш, – сказал он медленно. – Что там такое? У маркиза?

– Ничего, – сказала Маша. – Просто прошу.

– Ты какая-то странная.

– Я устала. – Маша встала. – Я пойду поработаю. Ба, спасибо, котлеты чудесные.

– Ты одну съела, – сказала бабушка. – Я потом еще съем. Оставьте мне.

– Оставим, – пообещал Марик, и Маша поняла, что не оставит.

Она вышла из кухни на веранду, а с веранды в мастерскую. На пороге оглянулась. Марик сидел над ноутбуком, бабушка стояла у него за спиной и что-то тихо говорила ему, положив руку на плечо. Марик кивал, не глядя. Фунтик, проснувшийся от запаха котлет, сидел у его ног и смотрел на стол с выражением глубокой обиды на весь мир. Маша закрыла за собой дверь мастерской.

Требник она переложила на дальний стеллаж, вместе с картоном и стеклом, чтобы не мешал. Стол протерла сначала влажной, потом сухой тряпкой. Расстелила чистый лист белой бумаги, большой, во весь стол. Положила рядом инструменты: лупу с подсветкой, колонковую кисть, пинцет, пакетики из кальки, скальпель на всякий случай, хотя резать ничего не собиралась, и блокнот с карандашом. Включила бестеневую лампу, опустила ее пониже. Надела фартук. Надела нитриловые перчатки, голубые, плотно облегающие пальцы, а поверх них тонкие нитяные, белые. Она всегда так делала с книгами, о которых ничего не знала. Двойные перчатки. Этому учил ее старый преподаватель в университете, Семен Ильич, сухой и строгий, который сам однажды, еще в шестидесятых, заработал страшную экзему, реставрируя старинную аптекарскую книгу, переложенную засушенными травами. «Вы не знаете, где была книга

до вас, – говорил он. – Вы не знаете, кто ее трогал и что на нее пролил. Книга – это не друг. Книга – это пациент. А пациент может быть заразным».

Маша развязала тесемки короба. Откинула крышку. Развернула бязь. Хроника лежала на картонной подложке, темно-зеленая, тяжелая, и под ярким светом бестеневой лампы шагрень заиграла по-другому. Стало видно каждое зернышко, каждую выпуклость на коже, и Маша поймала себя на том, что любуется. Шагрень делали из кожи ослов и лошадей, с крупа, специальным способом, вдавливая в сырую кожу семена, а потом сошлифовывая и вымачивая, отчего зерна поднимались. Это была долгая, трудная, почти уже забытая работа. Где Сазонов взял такую кожу в Москве в тридцатые годы девятнадцатого века, Маша не представляла. Наверное, привезли с Востока, с Кавказа или из Персии, кто-нибудь из купеческих знакомых Никифора.

Она начала с крышек, как всегда. Медленно, сантиметр за сантиметром, с лупой. Тиснение было золотое, хорошее, по краям рамка из мелкого орнамента, похожего на виноградную лозу. В углах розетки, четырехлепестковые. В центре овальное клеймо, а в клейме, под лупой, читались буквы: «И.С. Москва». Иван Сазонов.

Маша почувствовала, как у нее забилось сердце, и подумала, что это, наверное, смешно, вот так волноваться из-за двух букв, выдавленных в коже двести лет назад. Передний верхний угол был стерт до картона, это она видела еще у Воронова. Задние пятна были старые, явно водяные, с темным ободком по краю, и в них кожа стала жестче. Это можно было немного смягчить, затонировать, но совсем убрать нельзя. Корешок треснул вдоль первого сгиба, глубоко, и под трещиной виднелась подкладка, сероватый холст, и что-то еще. Маша наклонилась ближе, с лупой. Под трещиной, на холсте, был клей. Это было бы нормально, если бы клей был старый, бурый, кристаллический, каким становится за двести лет мездровый клей. Но этот клей был светлый, почти прозрачный, чуть желтоватый и под лупой немного блестел. Она осторожно, очень осторожно, кончиком деревянной палочки коснулась его.

Клей был не хрупкий. Он немного подался под нажимом, совсем чуть-чуть, как подается старая резина. – Ну-ка, – сказала Маша вслух, тихо, сама себе. – Ну-ка, ну-ка.

Она открыла книгу. На этот раз широко, на весь разворот, подперев крышки с обеих сторон свернутыми валиками из бязи, чтобы не ломать корешок. Под лампой форзац, мраморный, «павлиний глаз», заиграл сине-красными разводами. Маша посмотрела на сгиб, туда, где форзац уходил в корешок и смыкался с первым листом. И замерла. В сгибе, в самой глубине, на сине-красном мраморе, лежала пыль. Буроватая, почти рыжая, очень мелкая. На первый взгляд, это и была пыль, обычная, книжная, которая за двести лет набивается в любой корешок. Маша видела ее тысячу раз. Но обычная книжная пыль серая. Она слипается в комочки, в ней волокна, шерстинки, остатки бумаги. А эта была рассыпчатая, однородная и как будто зернистая. Маша поднесла лупу, включила подсветку. Под лупой, в увеличении, бурая пыль заблестела. Мельчайшие крупинки, похожие на сахарную пудру, только бурые, ржавого цвета, и некоторые из них отражали свет острыми гранями, как кристаллы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.